

АБРАМ ТЕРЦ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ  
ПОВЕСТИ

INSTYTUT

PARYZ



LITERACKI

1961

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ  
ПОВЕСТИ

BIBLIOTEKA "KULTURY"  
TOM LXX

IMPRIMÉ EN FRANCE

---

Editeur : INSTITUT LITTERAIRE, S.A.R.L.  
91, Av. de Poissy, Mesnil-le-Roi  
par Maisons-Laffitte (S.-et-O.)

АБРАМ ТЕРЦ

**ФАНТАСТИЧЕСКИЕ  
ПОВЕСТИ**

**INSTITUT**

**PARYŻ**



**LITERACKI**

1961

## Г Р А Ф О М А Н Ы

(Из рассказов о моей жизни)

...По дороге в издательство я встретил поэта Галкина. Мы сдержанно раскланялись. и я думал пройти мимо, как вдруг он, догнав меня, предложил съесть мороженное и выпить бутылку клюквенной за его счет.

Было жарко и душно. Пушкинский бульвар иссыхал. В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы. Мне это понравилось. Нужно запомнить, использовать: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы». Этой фразой я завершу роман «В поисках радости». Непременно вставлю, хоть прямо в гранки. Приближающаяся гроза оживляет пейзаж и звучит в унисон событиям: легкий намек на революцию, на любовь моего Вадима к Татьяне Кречет...

Я знал за Галкиным слабость: свои сочинения он готов читать кому угодно — даже контролеру в автобусе. Так и получилось. Пока я прохлаждался пломбиром и пил кислую воду, он успел на меня обрушить полтора десятка стихов. В них были «волосатые ноги», «пилястры» и «хризантемы». Больше ничего не запомнилось: обычная галиматья.

Стихи я не люблю. Они скверно действуют на мой ум, направляя его в ненужную сторону. Начинаешь думать в рифму, говорить в рифму, а это ужасно вредит — особенно в создании прозы. Я старался по мере сил не слушать Галкина и, чтобы отвлечь себя от поэзии, начал к нему присматриваться: наблюдения над человеческой внешностью могут всегда пригодиться.

Преодо мною качался на стуле типичный образец неудачника. Из почерневшего воротника торчала небритая

шея. Толстые губы и сплюснутый нос сообщали ему нечто овечье. Читал он неестественно, растягивая слова как в песне и закатывая от восторга белки. Он впал в состояние транса: его лицо перестало потеть, оно осунулось, приобрело серебристый, металлический отблеск.

Я боялся, что в кафетерии на нас обратят внимание, и предупреждающие кашлянул. Ничего не замечая, Галкин продолжал декламацию. Внезапно он споткнулся посередине строки и весь подался вперед, шлепая пустыми губами, хватая слово, вылетевшее из памяти, как хватают воздух утопающие перед тем как пойти на дно. Вместо продолжения из него вырвался стон, полный боли и страсти: — М - м - м - ы - ы! Он не смог застопорить голос и сокрушительно промычал: — М - м - м - ы - ы!

На этом все кончилось... Спустя мгновение Галкин уже говорил с нарочитой небрежностью:

— Как тебе нравится, старик? Как тебе нравится моя графомания?

Он скептически улыбался. Но я-то видел, я-то заметил: грудная клетка у него ходуном ходила и виски сильно пульсировали. На них уже проступили свежие капли пота — следы изнурения.

Я засмеялся и, спокойно посмеявшись сколько было нужно, — сказал:

— Очень странно, Семен, — сказал я. — Очень, очень странно. Ты что же, свои труды, — я нарочно сказал «труды», — считаешь за графоманию?

— Да! Считаю. Считаю, чорт поberi!

— И ты согласен, чтобы все, все без исключения, называли тебя графоманом? Прямо в глаза: графоман Галкин! здравствуйте, графоман Семен Галкин! Ни за что не поверю.

— И напрасно! — возопил он, чему-то радуясь. От радости он снялся с места и возбужденно приплясывал.

— И напрасно! И напрасно! Потому что нет никакой разницы. Да, да! Не спорь, я лучше знаю. Графомания! Болезнь — говорят психиатры. Неизлечимое, злое влечение производить стихи, пьесы, романы — наперекор всему свету. Какой талант, какой гений, скажи на милость, какой гений не страдал этим благородным недугом? И любой графоман — заметь! — самый паршивый, самый маленький графоманчик в глубине слабого сердца верит в свою гениальность. И кто знает, кто заранее может сказать? Ведь Шекспир или Пушкин какой-нибудь тоже были — графо-

манами, гениальными графоманами... Просто им повезло. А если бы не повезло, если б не напечатали, что тогда?..

С безотчетным волнением следил я за выкрутасами Галкина. Что-то в них привлекало меня и отталкивало, попеременно. Я не знал — балагурит он, как всегда, или рассуждает всерьез.

Но Галкин уже скис. Галкин водворился за столик и взял мороженое. Оно растаяло к тому времени, перешло в сметану. Он выскребывал, он вылизывал свой картонный, свой промокший насквозь стаканчик и приговаривал между делом:

— Мимикрия, Павел Иванович. Средство самозащиты. Я не лезу в гении. Но мне надоело. Понимаешь — надоело. Повсюду только и слышишь: графомания, графомания. Другим словом — бездарно. А я говорю им — не вслух конечно, а про себя, в своей сокровенной душе говорю: — Подите вы все к чортовой матери! Есть же, например, пьяницы, есть развратники, садисты, морфинисты... А я, я — графоман! Как Пушкин, как Лев Толстой!.. И оставьте меня в покое!.. Хочешь, старик, я тебе почитаю что-нибудь романтическое? Из второй книги стихов. Ты знаешь мою вторую книгу?

Я прекрасно знал, что за всю жизнь Галкин не выпустил ни одной книги — ни первой, ни второй. Переводы, правда, кое-какие бывали и стишок один в провинциальной газете по случаю годовщины, а более — ничего. И знал я галкинскую привычку — воображать себя настоящим писателем, с путем развития, с хронологией. Вторая книга, пятая книга — по периодам. Тщеславное вранье графомана.

Мне не хотелось в ту минуту ставить его на место. Он выглядел таким несчастным. Я был готов из сострадания терпеть его вирши дальше. Но я спешил в издательство и мягко ему ответил:

— Давай лучше, Сема, в другой раз почитаешь. А то мне скоро уходить. Меня ждут в издательстве.

И я рассказал вкратце, не афишируя, как обстоят у меня дела, в ту пору весьма обнадеживающие.

На Галкина моя новость не произвела впечатления. Или, быть может, из зависти он сделал вид, что не произвела.

— Эх! — сказал он, зевая и неприлично потягиваясь. — Они тебя обещаниями двадцать лет кормят. Двадцать лет сулят напечатать, а ни одной книги не выпустили.

И снова влез на своего конька:

— В замечательной стране мы живем. Все пишут, пишут и школьники, и пенсионеры. С одним тут парнем

познакомился. Рожа — во! Кулаки — во! Говорю ему: «Вы бы, дорогой товарищ, лучше боксом занялись. Большие деньги получите. Слава опять же, поклонницы». А он свое: «Нет, — говорит, — у меня, — говорит, — другое призвание. Я рожден для поэзии». Понимаешь — рожден! Все рождены! Общепринятая склонность к изящной словесности. А знаешь — чему мы обязаны? — Цензуре! Она, матушка, она, родимая, всех нас приголубила. За границей проще, беспощаднее. Опубликует какой-нибудь лорд книжку верлибра и сразу видно — дерьмо. Никто не читает, никто не покупает, и займется лорд полезным трудом — энергетикой, стоматологией... А мы живем всю жизнь в приятном неведении, льстимся надеждами... И это прекрасно! Само государство, черт побери, дает тебе право — бесценное право! — считать себя непризнанным гением. И ты можешь всю жизнь, всю жизнь...

Я поднялся.

— погоди! Пстой! Одну секунду! Вот мы с тобой здесь разговаривали, друг на друга смотрели, а про себя об одном и том же, всё об одном и том же непрерывно думали. Каждый думал: ты — графоман, я — гений. Я — гений, ты — графоман.

— Меня, пожалуйста, графоманом не называй, — ответил я резко. — Себя можешь считать кем угодно, а меня не касайся!..

— Ну, еще бы, еще бы...

Его плечи тряслись в бесшумном истерическом смехе. Мы расстались сухо, без рукопожатий, так же как встретились.



Молоденькая секретарша подняла точеную бровь.

— Страустин? Павел Иванович? — переспросила она, будто впервые слышала мое имя, и углубилась в ящик стола.

Дверь в кабинет редактора, обитая дермантином, была чуть приотворена. Кастрированный редакторский тенор, мне хорошо знакомый, доносился оттуда под унылую трескотню машинисток.

— ...С точки зрения композиции. Еще сильнее хромаете с точки зрения языка. Солнце потело в тучах! Разве так бывает? Разве может солнце потеть? Да еще в тучах. Изучайте Чехова. С точки зрения сюжета — почему ваша Настя

выходит замуж за Птицына? И почему был убит лейтенант, этот самый, как его звали?..

Второй голос ворчал, неуверенно сопротивляясь:

— Младший лейтенант Гребень. Под Вязьмой. Так оно и было на самом деле. Полная правда. Погиб ударом в живот. Фамилию немного исправил. Шпилькин звали. И Настя тоже была. Была такая Настя. Зинкой звали. Собрал жизненный опыт. Шестьдесят восемь лет. Полковник в отставке. Три войны, четыре ранения, две контузии в голову. Большой материал. Не пропадать же. На досуге приносить пользу. Композицию можно исправить. Язык переделать. Это вы правильно заметили. Солнце согласен вычеркнуть.

Как свой человек в издательском деле я подмигнул секретарше:

— Кто это, Зиночка? Очередной графоман? Бедный Севастьян Севастьяныч! Литературу атакуют полковники, оставшиеся кавалеристы...

Но та и бровью не повела, не пожелала войти в положение и даже не улыбнулась ни капелькой моей дружелюбной шутовности. Зиночка прихлопнула дверь обтянутую дермантином, и, укладывая канцелярию в стол, официальным тоном ответила, что роман «В поисках радости» у них больше ни числится. Якобы, неделю назад, отвергнутый издательством, он был переправлен ко мне домой вместе с критическим отзывом. Под этим фактом стояла подпись в книге курьера, в графе доставок.

— Вот посмотрите. Руку узнали? Ваша фамилия?

Руку я узнал и узнал горечь обмана и черную змею предательства, вписанную зеленым чернилом в графу доставок. «З. Страустина». Зинаида! Моя жена!.. Но сейчас мне было не до нее. Сейчас было важнее дать почувствовать этой вот Зиночке — смазливиенькой секретарше — ее место в жизни и мое внутреннее достоинство.

Девчонка, доступная любому корректору, а в дневные часы — редактору, который имел бы привычку шлепать ее по спине, смеет меня учить! Шлепать по спине... Как человек до конца отдавшийся высокому делу искусства, я был вполне свободен от этих низменных интересов. Но если бы мне посчастливилось напечатать «В поисках радости», я мог бы шлепать ее сколько угодно, и она бы не возразила и была бы еще польщена. Но я бы так не поступил, я бы придумал другое: я бы пригласил ее поначалу в Художественный театр, потом — в прекрасном светлосером костюме, под реверансы лакеев расслабил бы ее до потери

сознания сухим грузинским вином. Потом, расслабленную, веду ее под руку в гостиницу, где для крупного писателя в любой день и час есть номер «Люкс», и там, под балдахин, проделываю над нею все унижительные процедуры, какие только можно представить. Не потому, что очень надо, а для одной справедливости. Тогда она поймет, с кем имеет дело. Тогда она не будет оскорблять человека, который гигантски выше ее, но не имеет пока возможностей доказать свое превосходство...

Дверь, обделанная дермантином, неожиданно распахнулась. Оттуда вылетел полковник в отставке — с белым ежиком на бронзовом черепе и непомерно развитой грудью. На нем были прицеплены различные ордена: орден Боевого Красного Знамени, орден Славы и еще другие. Встретишь такого на улице и ни за что не подумаешь, что он в свободное время приучает себя к романистике. Но теперь он был в поту и отдувался, как бронепоезд, а с тыла его преследовал выхолощенный редакторский тенор:

— Чехова изучайте! Тургенева! Толстого Льва Николаевича!..

Наступил удачный момент.

Я вылез из кресел и, наскоро пригладив затылок, крадучись двинулся к щели, образованной бежавшим полковником. Каких-нибудь пять шагов, немного холодной решительности, и редактор, сидящий в укрытии, был бы у меня в руках. Первая фраза в юмористическом стиле была уже заготовлена. Главное в этих случаях не выказывать робости, держаться непринужденно, с достоинством, на короткой ноге...

Но, видно, тот день проходил под печальной звездой. Цербер, следивший за мной, бросился наперерез. Дермантиновый заслон очутился в распоряжении Зиночки раньше, чем я подоспел. Статное тело молодой секретарши, годное для позора, преградило мне путь.

— Пустите, пустите! — вскричал я с надеждой, что нас услышит редактор. — Роман «В поисках радости» никем не мог быть отвергнут. Рукопись мне никто не возвращал. Это недоразумение, смешное недоразумение...

Я бы, наверное, в конце концов победил глупую девку. Но надо же было так случиться, чтобы в эту минуту в издательство собственной персоной ввалился писатель Б.

Мы начинали вместе, в одном литературном кружке. Над его лепетом тогда все хохотали. Он писал хуже всех, хуже чем Галкин. И вот вам пожалуйста: через двадцать лет графоман Б. — знаменитость, хотя за этот срок он

исписался вконец, и у меня не было сравнений, чтобы выразить крайнюю степень его бездарности.

Он был в прекрасном светлосером костюме, с тростью из слоновой кости, и его большая сытая морда, большешелобая, толстощекая, излучала спокойствие и прохладу в разогретую атмосферу. Но я-то знал, что это за птица, и не мог сносить равнодушно его присутствие, вытеснявшее меня из комнаты, как солнечный свет вытесняет звезды с утреннего небосвода... Небосклона... Я чувствовал, что я исчезаю вместе с моими смятыми брюками, растворяюсь в в пропотевших носках, таю в бледной улыбке, которая трусливо вылезала на мои соленые губы вопреки сознательному намерению.

Еще немного и Б., чего доброго, снисходительно заговорил бы со мною о жене, о детях, и предложил бы займы 50 рублей в память о нашем знакомстве. Чтобы совсем не исчезнуть в его глазах, выжидающих терпеливо, когда я первый повернусь к нему поздороваться, мне пришлось ретироваться. Я сказал дипломатично, будто что-то припомята:

— Вот какое дело, — сказал я. — Передайте, Зиночка, вашему начальнику — у меня нет времени. Нет времени с ним сегодня беседовать.

Но она уже тянулась всем телом в направлении писателя Б. Она кивала ему навстречу всеми своими завивками. Я не стал смотреть в ту сторону, куда она устремлялась, и не поворачивал головы...

На лестнице моих ушей коснулся подозрительный смех. Зиночка взвизгивала так весело, точно ее щекотали. Ей вторило львиное рыканье преуспевающего графомана. Вскоре к их голосам присоединился третий. Должно быть, это редактор выбрался из засады и, шлепая Зиночку по спине, изогнутой в смешливом припадке, сам понемногу стал издавать слабые звуки...

Я надкусил себе левую кисть, мстя за унижение, которое они мне причиняли. Яркий отпечаток зубов проступил на синей коже в виде белого ожерелья. В двух или трех углублениях показалась кровь.

От этой глубокой боли мне сразу сделалось легче. Я вздохнул и подумал, что когда-нибудь я напишу книгу, где выведу это трио в сатирических красках. Тогда они поймут с кем имели дело, но будет поздно.



Хорошо было классикам XIX-го столетия. Они жили в тихих усадьбах, имели постоянный доход и, посиживая на стеклянной веранде, промеж балов и дуэлей, писали свои романы, которые немедленно публиковались во всех уголках земного шара. Они от самого рождения знали иностранный язык, обучались в лицеях различным литературным приемам и стилям, путешествовали за границу, где пополняли свои мозги свежим материалом, а детей, детей они сдавали на попечение гувернантки и жен отсылали на танцы или к портнихе или запирали в деревне.

А тут попробуй — возбуди вдохновение, когда организм просит есть и голова забита мыслью, как попасть в необходимую точку, как пробиться сквозь преграды, возведенные на твоём пути проходимцами-графоманами, которые вошли в литературу темным путем и замуровали за собою все входы и выходы. Где взять трехразовое питание? А еще — за газ, за электричество, и прохудились подметки, и рассчитаться с машинисткой за двести страниц машинописного текста, по рублю за страницу...

О, мизерность существования!..

Гляжу на себя и удивляюсь. Неужели этот гениальный мозг, это пылкое, неукротимое сердце воспитались на тухлых котлетках? Я не преувеличиваю: тухлые котлетки и ничего больше за целую жизнь. И нет никакой стеклянной веранды, нет элементарного письменного стола для написания хотя бы вот этой фразы. и пока пишу ее, над моим склоненным затылком с верхнего этажа дудит на трубе трубач, репетирующий одну и ту же пустую мелодию по пяти часов кряду, без перерыва.

Когда писался роман «В поисках радости», я затыкал уши ватой и обматывался вокруг полотенцем, я прикрывал глаза ладонью и работал вслепую, чтобы не видеть удручающие следы на стене — следы клопов и маслянистые пятна, и, напрягая силу воли, абстрагировался от кухонного запаха и от трубных звуков, проникавших в мое сознание сквозь вату и сквозь полотенце. Сравните после этого меня с Львом Толстым, сравните с Иваном Тургеневым! Я не знаю, кто из них, из классиков, согласился бы на мое предложение: пусть меня напечатают, а потом пусть я заболею и сразу умру, так и не изведав как следует всей посмертной славы. Издайте одну только книгу (лучше всего, если это будет роман «В поисках радости»), а потом убейте или сделайте со мной что хотите — я при-

му любой ультиматум, а кто из вас принял бы, кто из вас пошел бы на такие условия?

...Жены не было дома, она еще не вернулась с работы, а дома сидел один Павлик, он сидел на кровати, свесив ножки, и рисовал в своем альбомчике. Я предложил Павлику выбрать для рисования другое место и лег на кровать, чтобы передохнуть от жары и привести нервы в порядок. С минуты на минуту могла притти Зинаида, и я мог хорошо представить, как выскажу ей всё что имею, а также меня волновала одна проблема, куда она спрятала пакет, адресованный лично мне и утаенный ею в мое отсутствие вот уже неделю, не говоря ни слова. Тем более, что точной копии я не имел, и это был, можно сказать, единственный экземпляр наиболее полного варианта, и как-то было бы его вдруг утратить?

Из состояния задумчивости меня вывел Павлик. Он подлетел к изголовью и молча выложил мне на грудь рисовальный альбомчик, в котором на этот раз было что-то написано.

В прошлом месяце заботами Зинаиды он едва-едва научился писать, и я не думал, что найду в альбомчике готовое сочинение — первый, с позволения выразиться, рассказ моего сына, выполненный карандашом, печатными буквами, по линейке. Во избежание недомолвок я приведу текст целиком, не изменив ни слова и лишь устранив грубые орфографические ошибки.

#### Рассказ.

В один солнечный день. Около лесного болота, где трава росла очень густо, мельками маленькие пятна. Это были карлики величиной с палец. Они хотели сделать около болота свой город. Первым делом они резали и пилили траву. Карлики были завернуты в листья. Карлики были разделены на бригады. Вторым делом они собирали траву в кучи. Третьим делом они плели из травы. Четвертым делом они утрамбовывали землю. Одним словом у них было много дела.

— Это ты сам сочинил? — спросил я строго.

Павлик стоял, словно привинченный к железной ножке кровати, с виноватой улыбкой на губах и безмолствовал. Бледные щеки горели огнем незрелого честолюбия. Мне было нелегко вонзаться в юную душу холодный скальпель хирурга, но я хорошо понимал мой долг — произвести

операцию тут же, пока не поздно и он еще ребенок и не почувствует.

— Похвально, что ты умеешь писать, — сказал я, осмотрев критически его каракули. — Переписывай, если хочешь, крупный шрифт из газет, заглавия книг, имена птиц и животных. Это не повредит. Но зачем ты записываешь всю чепуху, какая лезет в голову? Дай мне слово, Павлик, никогда больше так не делать, не сочиняй никаких сказок ни про каких лилипутов. Это глупо и стыдно, и над тобой все стану смеяться и будут тебя дразнить, если узнают...

Я вырвал из альбомчика листок с рассказом и, демонстративно скомкав, сунул в карман брюк. Личико Павлика искажилось, он молча глотал слюну и норовил зареветь.

— Когда ты вырастешь, Павлик, и прочитаешь толстые книги, которые сочинил твой отец, ты поймешь, что это не простое дело и тут нужен талант, а может быть даже гений. Подумай — что получится, если все начнут писать? Кто же тогда работать будет, кто будет читать, когда кругом одни писатели? Нет, давай поделим поровну: я буду писателем, а ты — инженером или музыкантом. Папа — писатель, а Павлик — летчик, Павлик — великий полководец, моряк, знаешь как это весело — «по морям — по волнам, нынче здесь — завтра там»...

Я встал, прогулялся по комнате и снова возлег на кровать. Как объяснить шестилетнему ребенку, еще дошкольнику, всю сложность создавшейся ситуации? Не вводить же его в курс теории вероятности, в курс теории наследственности?

Не скрою: мне было отрадно в первый момент. Все-таки — моя природа, моя литературная кровь. Значит я что-то стою, если даже семя мое, брошенное на произвол судьбы, прорастает кривыми буквами по детской рисовальной бумаге...

Но я хорошо знал, что писатель не рождает писателя и у гениев не бывает потомства. Дети Льва Толстого не имели права писать. Дюма — не в счет: оба куда не годятся, особенно Дюма-сын. А Зинаида имела глупость называть сына Павлом. Она меня никогда не любила. Павел Страустин — на корешках, на обложках, у всех на устах. Через двести-триста лет поди разберись — кто тут я, а кто тут — он — графоман?

К тому же, если вдуматься: люблю я его, в конце концов, или нет? Во имя любви к сыну я был просто обязан. Порочные наклонности в детстве. «На первой ступени — рюмочка вина, на последней — разбитая жизнь».

Предотвратить! Да, да! Только поэтому. Для него же самого будет лучше...

— Ты слышишь, Павел? Я запрещаю! Если ты еще когда-нибудь...

Потом, в утешение, я рассказал, что подарю ему скоро настоящую пишущую машинку. Как только издадут мою книгу и мы ужасно разбогатеем, мы купим такую машинку. Нажмешь кнопку — вылетит буква и сама отпечатается на бумаге. Все буквы подряд и знаки препинания. Почти как в книге. Павлик научится печатать, пройдет грамматику и сможет аккуратно копировать папины рукописи. Полный сундук, что стоит в коридоре, и новые, прямо из-под пера. На машинистку нужны деньги, много денег. А Павлик ее заменит, и у нас в доме появится свой фамильный машинист.

— Ну, поцелуй папу. Развеселись пожалуйста и поцелуй папу!

На этом поцелуе пришла Зинаида. Она с порога стала мне выговаривать, что лежу в пыльных ботинках на чистой постели, а дома нет ни хлеба, ни чаю, ни сахару, ни чего-то еще. Тогда, не вставая, я спросил ее прямо в лоб, где издательский экземпляр романа «В поисках радости» и почему она об этом ничего не сказала раньше.

Началась перебранка.

Когда я вижу Зинаиду, мне в голову приходит вопрос: неужели эта чужая, немолодая, некрасивая женщина, истощенная женскими болезнями, одетая кое-как и вечно спешащая куда-то — моя жена и как это могло получиться? А ведь десять лет назад она меня любила и верила в мою звезду, восхищалась каждым словом, созданным мною, и говорила, что редакторы, меня не печатающие, ничего не понимают в искусстве. Ведь это ее образ, исполненный порыва и страсти, с развевающимися волосами цвета спелой ржи, запечатлел я по памяти в образе Татьяны Кречет, переделав только имя, чтобы читатели не догадались, и поместив ее в иную историческую среду. А теперь она готова изорвать роман на клочки и совсем не интересуется больше моими дальнейшими планами и говорит, сидя на стуле — нарочно в усталой позе, мотая тощей ногой в обвисшем дырявом чулке:

— Лучше бы ты был алкоголиком. Морфинисты — лучше. По крайней мере — просветы. Любят своих жен, ласкают своих детей. Никакого внимания. Ты занят одними художествами. Сливочного масла. Четыре месяца без работы. Тащить на себе дом. Не видит мяса. Если бы жена

тебе изменяла, ты бы даже ничего не заметил. Безжалостный кирпич. Сахар кончился. У Павлика малокровие. Поди сюда, Павлик. Папа нас не любит. Поди ко мне.

Павлик, шмыгая носом, оставил мою кровать и направился к стулу, на котором она сидела, а я подумал, что это был бы выход, если бы Зинаида мне с кем-нибудь вдруг изменила и кто-нибудь другой взял бы ее замуж. Но кто ее возьмет — некрасивую, в продранных чулках, с шестилетним ребенком? Она будет висеть у меня на шее до самой смерти. Если бы она умерла, в комнате стало бы тихо, просторно, и можно было бы по вечерам спокойно писать. А Павлик пускай живет, он — тихий вежливый мальчик и мешать мне не будет. Когда он вырастет, ему поручат весь мой архив или даже музей, как это делают обычно дети знаменитых писателей.

— Павлик, поди сюда. Зачем ты меня покинул? Разве ты папу не любишь?

Он спрыгнул с колен Зинаиды и послушно прибежал на кровать. Лаская его трепещущие остроконечные лопатки, я сказал жене, что Стендаля в свое время тоже травили, что книги мои будут иметь резонанс может быть через триста лет, и пусть она сейчас же возвратит рукопись, которую все равно, когда-нибудь прочтут и оценят, но будет поздно. Зинаида бесновалась на стуле, всхлипывая и причитая:

— Павел, не смей слушать этого человека! Неужели этот человек тебе дороже матери? Беги скорее ко мне! А ты, Павел, маньяк. Тебя надо лечить. У тебя одно на уме — войти в историю. У тебя нет мужества быть простым смертным. Но ты бездарность, вот ты кто! О, я несчастная!..

Она театрально ударила головой о штукатурку и, вызвав искусственный кровоподтек, заскулила еще звонче. Понятно, что шестилетний малютка не сумел разглядеть симуляцию. Он выскользнул из моих объятий и очутился у нее в руках. Я тоже разволновался, и мы начали кричать друг другу все, что имели, ведя борьбу за сердце сына, переходившего из лагеря в лагерь, из рук в руки.

— Павлик, не смей! Павлик, вернись! Это же я, твоя мама. А я твой отец, я твой отец. Поди сюда, Павел. Нет, иди ко мне. Не ходи к ней. Не ходи к нему. Павлик! Павел!

А он бегал от кровати к стулу и обратно, сгорбленный, молчаливый, невзрачный, и он мелькал по всей комнате так быстро, что казалось — их много, деловито суетящих-

ся карликов, и у них было много дела, как было написано в рассказе, который сочинил Павлик. Наконец, Зинаида схватила его в охапку и больше не выпустила. Он порывался уйти из плена, слыша мои призывы, но с ним началась икота, он громко и часто икал и никак не мог остановиться.

— Вот видишь — до чего ты его довел! — прошипела Зинаида, как будто в этом была не ее вина, и ушла, цепко держа Павлика, чтобы он не сбежал. Но хотя она насильно захватила у меня ребенка, все же победа частично осталась за мной, потому что, уходя, Зинаида нагнулась и вытащила из-под шкафа драгоценную рукопись, которую я уже считал погибшей.

— На! Подавись! — воскликнула она и, размахнувшись, метнула ее одной рукой прямо в меня. Роман «В поисках радости» угодил в спинку кровати и рассыпался на листы. Я кинулся их подбирать.

Вот она и возвратилась к своему создателю, эта книга, испытавшая столько бедствий на пути к славе. Она была облеплена пылью, с перепутанными листами, и некоторых страниц, как я сразу заметил, не доставало, а многие были смяты, разорваны или изуродованы снизу доверху синими редакторскими помарками. Я взял наугад 167-ую страницу и прочитал: «У края обрыва стояла Татьяна Кречет, ее золотистые волосы цвета спелой ржи развевались по ветру». На полях, против этой фразы синим карандашом был выведен вопросительный знак.

Я сел на пол и вдруг заплакал и, плача, говорю, обращаясь к Павлику, который, как мне чудилось, все еще здесь присутствует:

— Теперь ты понимаешь, почему я запретил тебе сочинять рассказы? Теперь ты понимаешь?

А еще, тоже плача, я говорил Зинаиде:

— Допустим — я графоман. Но кому до этого дело? Кому это мешает?

Но Зинаида давно ушла, я был один, и никто по счастью не мог наблюдать мою минутную слабость.



Когда я пришел к нему в первом часу ночи, пришел в чем был, при одном портфеле, Галкин еще не ложился.

— Давно пора! Либо — семья, либо — искусство. Приходится выбирать, — горячо поддержал он мою идею расстаться навсегда с Зинаидой.

Комната его, к удивлению, оказалась просторной и сравнительно чистой, но вещи в ней имели непривычное расположение: чайник стоял на полу, настольная лампа — тоже, а стол был занят прессом и всяким хламом. На электрической плитке в бритвенном тазике грелся столярный клей.

— Вот, Павел Иванович, переплетную мастерскую налаживаем. В качестве отдыха и развлечения. Книги житья не дают...

Книг у Галкина было до потолка, полки прогибались дугой. Я вытянул машинально одну: Константин Федин «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

— Не читал! — сказал сердито Галкин. — И тебе не советую. Я вообще, откровенно тебе скажу, — книг почти не читаю. Я их пишу. Зачем нам читать, когда мы сами писатели, сами можем в любой момент сочинить все что угодно... Вот посмотри...

Он подвел меня к полке, где одна, лишь одна секция была покрыта стеклом, и вынул из-под стекла книгу в пестрой обложке без заглавия, совсем новенькую по виду. Взглянув на титульный лист, я обмер:

Семен Галкин

## ВО ЧРЕВЕ КИТОВОМ

Девятнадцатая книга стихов

Москва — 1959

Мне хотелось взамен поздравления сказать ему колкость. Наверное дал взятку, подкупил редактора, чтобы протиснуть незаконно в печать свой сивый бред. Но Галкин меня опередил. С нескрываемым торжеством он произнес:

— Посмотри выходные данные. Каков тираж!

На обороте последней страницы мелким шрифтом было набрано: Редактор С. Галкин. Художник-оформитель С. Галкин. Технический редактор С. Галкин. Наборщик С. Галкин. Тираж 1 экземпляр.

Я медленно рассмеялся. Сначала — неуверенно, потом, постигая истину, — громко, дружелюбно, от всей души. Подделка была блестящей. И хотя у меня пальцы прыгали от пережитого чувства, я перелистал ее от корки до корки и даже понюхал бумагу. Я выразил, не таясь, свое

восхищение автору. Особенно мне понравились запятые — такие крохотные, аккуратные, ну совсем, совсем настоящие запятые.

— Тебе бы фальшивые деньги печатать! Талант зря пропадает, — сказал я ему шутливо и ткнул под ребро. — Да что у тебя, Сема, своя типография, что ли? Чем это сделано?

— Китайская тушь разбавленная и акварель, — ответил хмуро Семен и с непонятной поспешностью отобрал у меня книгу — единственный экземпляр. — Ну, хватит, старик! Пойдем спать...

...Я пробыл у Галкина три дня. Он кормил меня бутербродами с колбасой и поил досыта сладким чаем. Но его манера жить мешала мне думать и отвлекала от сложной работы по ремонту рукописи. Планомерно, фраза за фразой, я припоминал и восстанавливал текст, изъятый из моего романа стараниями злопыхателей, а Семен, шутя и болтая, пек свои переводы.

— Довольно чесать языком! Еще писатель называется! — не раз возмущался я его способностью вечно плести всякую чушь.

Но у Галкина на этот счет имелись дурацкие доводы. Титанический труд писателя состоял, по его понятиям, — в том чтобы разговориться. Писатель болтает с друзьями, мелет в черновиках, повторяет избитые фразы, спотыкается, несет окоlesiцу. И вдруг — ляпает! Ляпает то, что взбрело в голову, подвернулось на язык. И это самое главное: проболтаться нечаянным словом, в котором весь мир увидит отныне, как любил высокопарно говорить Галкин, свой самый верный, самый точный синоним.

По временам он смолкал и, развесив пухлые губы, сидел неподвижно минут пятнадцать с идиотическим видом — форменная копия овцы или, правильнее сказать, барана. Меня зло брало в таких случаях за испорченное влхновение, за то, что — разговорами ли своими, внезапным ли столбняком — он приковывает мое внимание, не давая сосредоточиться. Тогда я ронял на пол какую-нибудь вещьцу — карандаш, или ножницы, или один раз, для опыта, тяжеловесную рукопись — роман «В поисках радости». Галкин не реагировал. С оттопыренной нижней губы ему на воротник свисала паутинка слюны.

Особенно жалким он бывал ночью, когда проснувшись и разбудив меня громким бормотаньем, он без штанов кидался к столу и, почесывая невымытые ноги, строчил за страницей страницу, а потом рвал на мелкие части и, покач-

нувшись как пьяный, валился спать. Днем он тоже порядочно изводил бумагу...

— Ты знаешь, старик, — говаривал Галкин, глупо и широко улыбаясь. — Чем больше я работаю, тем лучше понимаю: все самое лучшее, что я сочинил, принадлежит не мне и написано, чорт побери, вроде бы не мною. А так, пришло в голову со стороны, залетело из воздуха... Вот говорят: «запечатлеть себя», «выразить свою личность». А по-моему, всякий писатель занят одним: са-мо-ус-тра-не-ни-ем! Для того и трудимся в поте лица, вагоны бумаги исписываем — с надеждой: устраниться, пересилить себя, дать доступ мыслям из воздуха. Они возникают сами собой, помимо нас. Мы только работаем, только работаем, только идем, идем по дороге и дорогу им время от времени, перебарывая себя, уступаем. И вдруг! — ведь это всегда бывает сразу, и вдруг! — становится ясно: вот это ты сам сочинил и потому никуда не годится, а это вот — не твое, и ты уже не смеешь, не имеешь права ничего с этим поделывать — ни изменить, ни улучшить. Не твоя собственность! И ты отстраняешься с недоумением. Оторопь берет, Не перед какой-то там красотой совершённого. А просто испуг перед своей непричастностью к тому, что произошло...

Я внимательно слушал откровенные признания Галкина. Они показались мне очень даже интересными. Вот-так-так! Не считает своей собственностью? Это надо учесть... Кто же тогда сочинитель?.. У кого он все это заимствует?.. События подтвердили мои наихудшие опасения.

В гостях у Галкина часто терлись личности темного вида. Они являлись запросто, усаживались без приглашений, и по всему было заметно, что этот дом служит им штаб-квартирой или перевалочным пунктом на извилистых литературных путях. В первое же утро пришла особа лет сорока восьми — сорока девяти, стриженная под мальчика и говорившая о себе в мужском роде. Вместо: «я пришла» она говорила: «я пришел», «я хотел».

— Я принес новую пьесу. В пяти актах, — процедила она и подала Галкину левую руку в облупившемся пальциуре. Нога на ногу, обхватив переплетенными пальцами вздернутое к подбородку колено, она курила непрерывно, щурясь от слезоточивого дыма, и, кривясь, перекачивала вдоль рта зажеванную папиросу дешевой марки «Прибой».

По ее уходе Галкин дал аттестацию:

— Корректор. Служила в толстом журнале. Уволена за политический ляпсус. Пишет пьесы криминального направ-

ления. Очень остро критикует министров, высшую бюрократию. Не печатается исключительно по цензурным условиям. Была первой женой известного скрипача-педераста

Затем был визит учителя ботаники, лысого, анемичного, при малахитовых запонках, с доброй придурковатой улыбкой всеобщего любимца девочек в пятых и шестых классах средней школы. Он провел у нас четыре часа с лишним: они клеили из картона странную фигуру наподобие морского ежа. Как потом объяснил Галкин, это была книга, тоже книга! но раскрывающаяся по типу гармошки и покрытая изнутри стихами абстрактного содержания. Другие книги — в форме куба, пирамиды и яйца были выполнены месяцем раньше при содействии того же Галкина, видевшего в этих изделиях новый синтез поэзии, живописи и скульптуры.

Мне хотелось избавиться от незваных гостей и помочь в этом хозяину. Куда ему роль мецената всех графоманов, всех бездарей и неудачников? Сам — графоман, сам — неудачник!

— Ты ничего не понимаешь! — кипятился Галкин. — Ты пишешь длиннющие романы о революции, о гражданской войне... Сколько тебе было в девятнадцатом году?.. А здесь у тебя под носом бьются страсти, достойные кисти Шекспира... Шейлоки, ягуары! Ах, если бы я был драматургом!..

Он гарцевал по комнате, лохматый, похожий на овцу, воздвигнутую на задние ноги, и спотыкался о чайники и стаканы, расставленные на паркете будто на скатерти. С верхних полок от его топанья падали на пол книги, испускающая клубы пыли, а он попирал книги ногами и угрожающе восклицал в потолок:

— Подожди, Страустин! Ты увидишь! Мы соберемся вместе... В полном составе... Боже! Какие люди живут в нашей России! И они живут напрасно и бесполезно умирают...

Вскоре я получил возможность наблюдать это зрелище, достойное кисти Шекспира. Народу набилось человек двадцать — двадцать пять — тридцать. Стульев не хватало. Сидели на подоконниках, на энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона...

Здесь были представители всех сект, поколений и направлений: старухи в чеховских пенсне, пишущие о свинофермах, и мальчишки-неофиты в пушкинских кудрях, работающие под Есенина. Тут же вертелся мой старый знакомый — полковник в отставке, при всех орденах. У него был контакт с парнем в рваной тельняшке. От парня пахло

спиртом, тюрьмой и самоубийством. Он застенчиво косился на чистую публику, полковник его ободрял:

— Брось, Гриша!.. Со мною не пропадешь...

Руководил собранием Галкин. Он чувствовал себя именинником и, едва все раселись, попросил слова для небольшого, как он выразился, приветствия.

— Просим! Просим! — крикнула сочинительница криминальных пьес.

— Просим! — промямлил по ее примеру учитель ботаники, конфузливо зажавший в коленях синтетическое произведение — муляж морского ежа.

— Дорогие коллеги! Товарищи графоманы! — начал громоподобно оратор. По комнате пронесся дружный ропот негодования.

— А сам ты кто? — рявкнул полковник в отставке.

Но Галкину только того и надо было. Он провел аналогию между графоманом и гением и тем успокоил присутствующих. Он назвал графоманию основой основ и началом начал и назвал ее болотистой почвой, откуда берут истоки чистейшие родники поэзии. Эта почва, говорил Галкин, переполнена влагой. У нее нет выхода, говорил Галкин. Придет время, говорил Галкин, и она хлынет из недр и затопит мир. Кто был ничем, говорил Галкин, тот станет всем, и пусть не хватит на всех бумаги, мы покроем стены домов и голые панели улиц текстами в стихах и в прозе, говорил Галкин.

Собрание отвечало сочувственным шумом. Но я видел: среди графоманов обнаруживается нетерпение. Уединялись в углы. Составлялись союзы по два, по три лица и, пока один автор читал вслух какое-нибудь свое сочинение, другие, переминаясь, ждали. Каждому хотелось. Галкина уже никто не слушал...

— ...Над нами небо с улыбкой женщины и фиолетовое как чернослив лейтенанта по имени Гребень покоилось на зеленой траве. Генерал Птицын, не утирая сухих солдатских слез, градом катящихся по его щекам, скомандовал: — Я вас люблю, милая Тоня, и губы их слились в огненном поцелуе. И он почувствовал в душе такую ватрушку с творогом, да пироги с грибами, да полдюжины крепких, студеных как сосульки огурчиков, пахнувших свежим укропом и засоленных ранней весной, когда хочется плакать от счастья вместе с природой и восклицать: — О, Русь! Куда несешься ты? — благословляя первый, пушистый, нежный, розовый снег на черную, грязную, скользкую, проезжую дорогу. Румяной зарею покрылся восток, и ты, Вячеслав, по-

лагаешь, что министр не знает об этом? Министр покрывает преступников, но зачем же, Вячеслав, ты крепко ручку мою жмешь, глазами серыми ласкаешь, а на сближенье не идешь?

Всякий теперь выкликал свое. Собрание распалось на группы, группы — на единицы, единицы — на части. Красные, вспотевшие лбы. Хаотические прически. Руки, втыкающие восклицательный знак и рыковырывающие из пустоты запятую. Бешеная жестикуляция ртов, слюнявых, пенистых, наполняющих воздух грубыми звуками.

— Комбайн, комбайн, Настя, Липы цвели, золотянистых не съест в петухах. Пограничник из хрустала, горцы на бескозырке. Игорь свирепея, молчал. Замминистр березовой роши. Ихоч икотца наждаком фиалки. Ибо поле падут тракторами. Вызвали секретаря. Секретарь райкома Лыков пухежилился на рассвете Днепра. Вечина в грунте, заря впереди. Горит, горит! Недаром! На груди шептунчик. Юбость, юбость, ской ты пикасна! Липы цвели. Тюлень жасминовый до горизонта. Линуясь произнесла: Ура! Ребята! Не Москва ль за нами? Рём же по капитану!

Вдруг посреди сумбура сверкнула фраза, заставившая меня вздрогнуть и обернуться. Кто-то сказал:

— В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы...

Она сверкнула, как молния, и потонула во мраке слов, клубящихся надо мною, и стремительно обернувшись, я не мог понять, который из этих лопочущих ртов только что произнес цитату из моего романа «В поисках радости». Но ошибиться я тоже не мог, потому что лишь вчера вписал в текст фразу о приближающейся грозе — именно в том варианте, в каком ее здесь повторили.

И вот опять, в подтверждение ужасной догадки, другой голос в другом конце комнаты негромко, но внятно сказал:

— Возду... чуста... хани... жаю... зи...

Сомнений быть не могло: меня обокрали, у меня похитили мою жемчужинку.

Я не медля протолкался к Семену. Тот в позе Наполеона взирал на вакханалию. Вдавленными своими ноздрами, толстогубыми губами, вытянутыми дудочкой, он жадно впитывал все слова и звуки, летавшие суматошно по воздуху. Он так был поглощен этим делом, что даже не заметил меня. А я в ту минуту, я — прозрел и с ясностью художника, постигшего внезапно всю подлость жизни, я прочитал

интуитивно все то, что было написано на жадном лице Галкина.

Именно он, Галкин, и никто другой, был главным виновником моей потери. Недаром он вчера разводил философию, что, дескать, все мы ничего хорошего сами не сочиняем, а лучшие мысли приходят на ум из воздуха. Недаром он и сейчас прислушивался ко всему: завтра использует и скажет: «не моя собственность», «случайно пришло в голову, подвернулось на язык». С такую же легкостью он отдал своим друзьям-графоманам мою золотую жемчужину. Наверное подсмотрел в рукописи, пока я спал или ходил в уборную... И вот она ходит по рукам, как разменная монета, среди шулеров и мошенников...

Я подергал Галкина за рукав и с ехидством спросил:

— А тебе, Семен, не хочется записать? Чтобы не забыть и завтра использовать...

— Хочется! — сказал он, даже не покраснев. — Хочется! Но ведь я не драматург и к сожалению не прозаик. У меня не получится... Вот на твоём бы месте, Страустин, я бы сочинил что-нибудь подобное... Рассказ или ещё лучше — повесть, роман, эпопею! Я бы назвал её «Графоманы»! Эпопею про неудачных писателей. Материал, материал-то какой пропадает!..

Видя, что он уклоняется, я спросил — тоже достаточно иронически:

— А как тебе покажется, Семен, такая фраза?.. Мне сейчас довелось услышать...

И я процитировал финальный аккорд из моего романа: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы».

Но Галкин опять не покраснел.

— Плохая фраза, — сказал он хладнокровно. — Избитая, старая, как двугривенный... Но разве в этом суть? Дело не в том, как они пишут, а как они жаждут!..

Толковать с ним было бессмысленно. Он прикинулся, что не улавливает моих намеков, и вновь начал ораторствовать:

— Неудачники? Все — неудачники! Всякий человек — удавшийся гений! Но только мы, мы неудачники, постигшие всю глубину наших гениальных возможностей, только мы знаем... И только в нас, в нас самосознание человечества...

Галкин обращался ко всем. Но графоманы были в азарте. Они вели игру, передергивая слова, перехватывая друг у друга карты, и ничего не замечали. Мое сердце наполня-

лось презрением. Они украли у меня драгоценность и назвали её двугривенным и пустили её в оборот, чтобы повысить шансы. Это им не помогло. Они все проигрывали, отчаянно проигрывали, они буквально разорялись у меня на глазах...



В ту ночь мне не спалось. Я положил под голову мою ограбленную рукопись, чтобы Галкин не произвел новых опустошений. Теперь я мог в течение ночи безотрывно контролировать затылком её нетвердую жесткость. Мне было ясно, что у Галкина оставаться дальше нельзя.

Хозяин преспокойно храпел на письменном столе, соорудив ложе из книг, пальто и единственной в доме подушки. На тахте, где спал обычно Галкин, растянулся учитель ботаники. Ему нужно было в школу к первому уроку и он не поехал к себе в Фили и остался здесь ночевать. Его присутствие тоже меня не радовало. Я подвинул к дивану лампу и, раз уже мне все равно предстояла бессонница, взял Константина Федина — «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Слог показался мне вялым, а сюжет скучным. Как большинство современных авторов, превративших литературу в неприступную крепость, Федин не обладал ни умом, ни талантом, ни знанием предмета, о котором пишет. Он рассказывал о революции и гражданской войне, ничего в этом не смысля. Но некоторые слова и выражения, если к ним приглядеться внимательнее, выделялись в лучшую сторону и были вроде бы мне хорошо знакомы. Приглядевшись внимательно, я в них обнаружил близкое сходство со мною — с моими книгами разных периодов, все еще не опубликованными.

Например, Федин писал: «Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию». В моей же повести 1935 года «Солнце встает над степью» была — я отлично это помнил — такая фраза: «Дорога привела на обширное поле, засаженное яблонями». Только у меня эти яблони, помнится, цвели и блистали на солнце розовыми лепестками. А Федин, чтобы скрыть плагиат, ликвидировал всю красоту на моих цветущих деревьях и тем неизмеримо ухудшил эту сцену. Но все же мои крупницы, даже в искаженном виде помогли ему быстро сделать блистательную карьеру, и теперь без зазрения совести он потреблял плоды славы, которые по праву принадлежали мне одному.

Как проклиная я мою доверчивость! Мои рукописи пребывали без движения в издательствах, чтобы через месяц и более вернуться ко мне назад — с выщипанными страницами и неизменным отказом. А пока я страдал в ожиданиях, ловкие руки разных Галкиных, Фединых умело их обрабатывали и пускали в ход под чужими, под фальшивыми именами...

Я встал с постели и, обшарив полки, набрал кучу книг, выпущенных в последние годы. И в какую бы книгу я ни смотрел — открыв на середине — Леонова, Паустовского, Фадеева, Шолохова — всюду я наткнулся на мои следы, погруженные в массу глупого, ни на что не похожего текста. Даже у Франсуа Мориака — при самой беглой проверке — я нашел четыре детали, заимствованные из одного моего юношеского рассказа под названием «Человек», и я долго ломал голову, как же это произошло, пока не догадался, что похитители могли ведь и через границу переправлять копии с моих произведений...

Я был столь обескровлен всеми этими впечатлениями, что под утро невзначай задремал и мне приснился кошмар. Мне снилось, что я сплю, а в мою черепную коробку, сквозь затылок и мозжечок будто бы врезается бумажный лист, испещренный машинописными знаками. Я смотрю в этот лист перевернутыми к затылку глазами и напрягаюсь прочесть, что там напечатано, и от этого будто бы в моей личной судьбе всё зависит. А слепые абзацы то выступают передо мной на мгновение, то померкнут, то выступают, то опять померкнут, и ничего не получается. Я долго мучался, так и не разобрав, что там было написано, и когда пробудился, голова у меня затекла и шея ныла, и на часах было уже четыре часа дня.

Учителя ботаники и след простыл, а Галкин сидел одетый за столом и что-то быстро писал — все то, вероятно, что успел запомнить из вчерашнего кавардака. Он был неразговорчив и желтолиц и любоваться на него было противно.

Я знал, что нужно поскорее уходить отсюда, пока графоманы меня полностью не обобрали, но почему-то медлил, волынчил, слонялся из угла в угол, бесцельно лежал на диване, потягивался и всё мне как-будто чего-то недоставало, чтобы взять и уйти. Нащупав в кармане двугривенный, я подошел к застекленной секции, где Галкин хранил свои книги, сделанные ручным способом, и тихонечко постучал в предохранительное стекло моим двугривенным.

Галкин сперва терпел, потом просил пощадить, потом поднял голову и огрызнулся:

— Перестань! Что тебе надо?

На пять минут я оставил его в покое, затем снова включился в игру и я потешался над ним методично до тех пор, пока он не выскокил из-за стола и не начал ругаться. Тогда я сказал ему — спокойно как только мог:

— Галкин, Галкин, а ведь ты — графоман. Ты самый настоящий, заурядный графоман...

Нервы во мне зудели и кровь рывками прилиwała к сердцу, но я говорил ровным и почти ласковым голосом, чтобы тем самым сильнее его раздражить и опечалить и доказать ему с фактической очевидностью, что он обыкновенный графоман, графоман, графоман, графоман — повторял я надоедливо и стучал по стеклу.

— Что же ты сердисься, Семен? Ты сам назвал графоманию почетным титулом... Почему же ты непоследователен, графоман Галкин!..

Когда же он, дойдя до высшей точки, заорал во все горло, чтобы я убирался прочь, меня охватило чувство, близкое удовлетворению. Собрав неспеша портфель, я произнес с полным правом это произнести:

— Ну, вот — ты меня выгоняешь... Сначала ограбил, а теперь выгоняешь...

Но я не стал ему объяснять, в чем была его вина передо мною, потому что он все равно ничего бы не понял. Я только попрекнул его на прощание еще раз графоманом и поскорее прикрыл дверь, чтобы он не зашиб меня кинутой вдогонку книгой.

...Я пришел к нему ночью и ушел поздним вечером и, так как итти мне теперь было абсолютно никуда, я бродил с портфелем под мышкой по затихающим улицам, не имея перед собой никакой определенной задачи. Мой организм просил есть и переставал просить, головная боль то проходила, то возобновлялась с удвоенной силой, денег у меня, если не вспоминать о двугривенном, не было ни копейки и делать мне тоже было нечего. От нечего делать я засматривал в освещенные окна на первых этажах и в подвалах, и когда они не были тщательно задернуты занавесками, мне везде открывалась одна и та же картина.

Был поздний вечер — излюбленный час графоманов, и в каждой доступной мне дыре кто-нибудь что-нибудь писал. Создавалось впечатление, что город кишит писателями, и все они от мала до велика водили по бумаге автоматическими ручками.

Сколько их, куда и зачем они пишут? Всюду имелись библиотеки, читальни в миллион томов. Да и в частных квартирах шкафы, этажерки, столы были буквально переполнены, книжные запасы скапливались на подоконниках, свешивались с потолка. И всякий день и час выпускались новые, никому не нужные, никем не читаемые фолианты. А эта армия одержимых продолжала работать...

Я не принадлежал к их числу. Моя судьба была горше, но достойнее. Посреди этого пишущего человечества быть может я один был настоящим писателем, чьи произведения хотя и не получили признания, но легли в основу литературы и составили в ней наиболее ценные страницы. Слова из моих книг, расхищенные и распроданные удачливыми современниками, украшают отныне лучшие образцы знаменитейших в мире авторов. Им подражают, их переписывают. Не сами пишут, а меня переписывают, ничего не ведая о скромном творце, который бродит у них под окнами. Да! Я не вошел победителем в лавровом венке в парадную дверь, но я проник в их тела и души через пищу и через воздух, как яд проникает в кровь, и теперь им от меня никогда не избавиться...

Ряды освещенных окон заметно редели. Пишущие отходили ко сну. Вскоре в домах остались только одинокие лампочки. Две-три на целый квартал. Это самые злые, закоренелые графоманы упорствовали в своем безумии.

Меня пошатывало и поташнивало от истощения и усталости. Но я шел и шел, не задерживаясь, по улице Чехова, по улице Горького, через площадь Пушкина... И были еще улицы в честь Льва Толстого, Достоевского, Маяковского и не то Лермонтова, не то Некрасова... Я не шел по ним, но я помнил, что они есть.

Классики — вот кого я ненавижу пуще всех! Еще до моего рождения они захватили вакансии, и мне предстояло конкурировать с ними, не располагая и сотой долей их дутого авторитета. — Читайте Чехова, читайте Чехова, — твердили мне всю жизнь, бестактно намекая, что Чехов писал лучше меня... А как с ними бороться, когда в Ясной Поляне даже ногти Льва Толстого, постриженные тысячу лет назад и собранные дальновидным графом в специальный мешочек, хранятся как святыня?! А в Ялте, говорят, в специальных пакетиках сберегаются засохшие плевки Чехова, да-да! подлинные плевки Антона Павловича Чехова, который, говорят, много страдал кровохарканием и даже умер от чахотки, что, конечно, преувеличено.

Но если быть честными: так ли уж хорошо писали и

Толстой и Чехов? То-то же! Взять бы этого Чехова за туберкулезную бородавку да ткнуть носом в его чахоточные плевки, которые к сожалению уже засохли: — Не пиши, графоман! Не пиши! Не порть бумагу!

Как можно?! Заступники найдутся... Почитатели, библиографы, мемуаристы... А что обо мне мемуары напишет? Кто меня, я вас спрашиваю, вспомнит и увековечит?..

От усталости и расстройства я выписывал вензеля ногами, спотыкался, покачивался. Мой тяжкий путь по мостовой был причудлив и зигзагообразен. Вдруг мне показалось, что я не сам иду по улице, а чьи-то пальцы водят мною, как водят карандашом по бумаге. Я шел мелким неровным почерком, я торопился изо всех сил за движением руки, которая сочиняла и записывала на асфальт и эти безлюдные улицы, и эти дома с непогашенными кое-где окошками, и меня самого, всю мою длинную-длинную неудачную жизнь.

Тогда я вырвался, круто затормозил, остановясь на полном разгоне, и чуть не упал и посмотрел исподлобья в темное небо, низко нависшее над моим лбом. Я сказал негромко, но достаточно основательно, обращаясь прямо тула:

— Эй, ты, графоман! Бросай работу! Все, что ты пишешь — никуда не годится. Как ты все бездарно сочинил. Тебя невозможно читать...



Было семь утра, но Зинаида уже поднялась и кормила Павлика манной кашей. При виде меня она дико обрадовалась и, защемив мою голову обеими руками, пригнула ее к себе и крепко поцеловала. Покачнувшись, я сел.

— Я знала, что ты вернешься... Я знала... Я знала... — твердила она, задыхаясь, и прижимала мое лицо к своему боку. — Ты — добрый, ты — умный, ты — великодушный... Ты понял, понял, наконец... Ах. Павел, Павел!..

Я осторожно высвободил голову из объятий и, чтобы сделать Зинаиде приятное, чмокнул ее в шершавую руку. Она всхлинула.

— Ты ведь совсем вернулся?.. Ты больше не уйдешь?.. Мы больше не будем ссориться?.. Да? Да?!

У меня не было ни сил, ни желаний отвечать отказом и я ответил: да!

— Да! — сказал я не очень весело, но вполне откровенно. — Я принял решение. Пора оставить. Писателем мне не

быть. Ничего. Проживу и так. Поступлю на службу, буду воспитывать Павлика... Ничего.

Она хлопотала вокруг меня, как-будто я был знаменитостью. Она подала чистое полотенце, и стакан молока, предназначавшийся обычно ребенку, был торжественно передан мне — на поправку здоровья.

— Ты плохо выглядишь, — сокрушалась Зинаида. — И глаза у тебя какие-то мутные... Но ничего, ничего, теперь все позади.

Она обещала мне новую жизнь с этого дня и говорила, что теперь дом наш будет полон света и радости, и мы будем ходить в театры, в кино, а чтобы у меня остались какие-то мужские причуды, она разрешает мне купить охотничье ружье или еще лучше — если я увлекусь рыбной ловлей. На худой конец она допускала, что я начну выпивать иногда, как это случалось со мною в дни молодости.

— Ладно, ладно. Ты опоздаешь на работу, — напомнил я ей и добродушно хлопнул по задку. Некрасивое лицо Зинаиды сморщилось в улыбке. Мне даже показалось, что Зинаида похорошела.

Когда она ушла на работу, мы с Павликом ополоснули посуду и смели крошки с клеенки.

— Ну, рассказывай, Павел, — как живешь, что сочинишь? — спросил я его в упор, но бодрым тоном.

Павел, потупясь, молчал.

— Не бойся. Я передумал. Пиши теперь, сколько хочешь. Я не отберу. Все, что я тогда говорил, было шуткой. Вот возьми...

Я нашел в кармане бумажный комок и, расправив, подал сыну. Карандаш полинял, но разобрать буквы было еще возможно.

— Перепишешь начисто. Садись сюда и пиши.

Павел живо слазил под кровать за рисовальным альбомчиком. Пробило девять. С верхнего этажа слышались звуки трубы. Это верхний жилец, едва проснувшись, начал первую трель.

Я тоже достал из портфеля стопку чистой бумаги. Я расположился напротив Павлика, постелив газету поверх клеенки, чтобы страницы не прилипали.

— Смотри, маме не говори!..

Мне не хотелось ее обманывать и нарушать данное слово. Я честно обещал покончить с писательской страстью, от которой мы все так долго страдали. И непременно покончу, как только напишу последнюю вещь — свою лебединую песнь. Многие годы этого ждал, к этому приближался. Ле-

бединая песнь о самом себе. Нет, нет, не для печати. Пускай сын хотя бы прочтет. И на этом брошу...

Павел уже копировал стершиеся каракули.

— Пиши, Павел! Пиши! Не бойся. Пусть над тобою смеются, называют графоманом. Сами — графоманы. Кругом — графоманы. Нас много, много, больше, чем надо. И мы напрасно живем и бесполезно умираем. Но кто-нибудь из нас дойдет. Или ты, или я, или кто-нибудь еще. Дойдет, донесет. Пиши, Павел, сочиняй свои сказки про своих смешных карликов. А я буду про своих... Мы с тобою придумаем столько сказок... Не сосчитать. Только ты смотри — маме ничего не говори.

Трубач над моей головой дудел в полную громкость, точно хотел воспрепятствовать. Но мозг мой был проворен, как после долгого сна, и душа полна вдохновения. Я взял чистый лист и большими буквами написал сверху название:

## ГРАФОМАНЫ.

Потом подумал и приписал в скобках: (Из рассказов о моей жизни).

1960 г.

## В Ц И Р К Е

...Снова грохнула музыка, зажегся ослепительный свет, и две сестры-акробатки, сильные как медведи, изобразили трюк под названием «акробатический танец». Они ездили друг на друге в стоячем и в перевернутом виде, вдавливая красные каблук в свои мясистые плечи, и руками толщиной в ногу и ногами толщиной в туловище выделявали всевозможные редкостные упражнения. От их чудовищно распахнутых тел шел пар.

Потом на арену выпрыгнуло целое семейство жонглеров в составе мужа с женою и четырех детенышей. Они устроили в воздухе жуткую циркуляцию, а папаша, их воспитавший, самый главный жонглер, скосил глаза к переносью и воткнул в рот палку с никелированным диском, а на нее поставил бутылку с этикеткой от жигулевского пива, а на бутылку — стакан и сверху того: зонтик — во-первых, блюдо — во-вторых, а на блюде — два графина с настоящей водою — в-третьих. Наверное с полминуты держал он всё это в зубах и ничего не уронил.

Но всех превзошел артист, именуемый Манипулятор, интеллигентный такой господинчик заграничной наружности. Был он жгучий брюнет и обладал столь гладким прибором, точно выгравировали ему плешь по линейке электрической бритвой. А пониже — усы и всё что полагается: галстучек, лаковые полботинки.

Подходит с невинным видом к одной даме и вытаскивает у нее из-под шляпки настоящую белую мышь. Потом — вторую, третью и так — девять штук. Дама — в обморок. Говорит: «Ах, ах, я больше не в силах!» и требует для успокоения воды.

Тогда он подбегает к ее кавалеру справа и хватает его за нос — осторожно, двумя пальчиками, как парикмахер. А

незаятой левой рукою достает из кармана рюмку и поднимает кверху, на свет, чтобы все могли убедиться в неподдельной ее пустоте. Потом резким жестом сжимает нос кавалеру и оттуда летит в рюмку золотистый напиток — газированный, с сиропом. И ничего не разбрызгав, подносит учтиво даме, которая пьет с наслаждением и говорит «мерси», и все вокруг смеются и хлопают от восторга в ладоши.

Как только публика стихла, Манипулятор, воротясь на арену, спросил грубым голосом у того самого, кому выпустил воду:

— Отвечайте, гражданин, побыстрее, который час на ваших часах?

Тот хватя себя за жилетку, а там ничего нет, а Манипулятор слегка поднапрягся и выплюнул ему на арену его золотые часики. А потом тем же порядком вернул разным гражданам — кому бумажник, кому портсигар, а кому, так себе, мелочь какую-нибудь: перочинный ножик, расческу — всё что сумел вынуть из них за время представления. У одного старика он даже похитил сберкнижку и деликатный дамский предмет — из внутреннего потайного кармана. И всё вернул по назначению под общие аплодисменты: такой был артист!

Когда всё кончилось и публика начала расходиться, Косте стало обидно, что он ничего не умеет: ни ходить колесом по орбите, ни кататься на велосипеде раком — руки чтоб на педалях, а ногами чтоб держаться за руль и управлять в разные стороны. Он даже не смог бы, наверное, без предварительной практики так подбросить кепку, чтобы она сделала сальто и сама села на череп. Единственное, что Костя умел, — это сунуть в рот папироску задом наперед и не обжечься, но спокойно выпускать дым из отверстия, как паровоз или же пароход из трубы.

Но эту нетрудную штуку знал теперь любой школьник, а Косте шел двадцать шестой год и ему всё надоело: целыми днями лазай по стенам, как сумасшедший, да вывинчивай перегоревшие пробки, не имея в жизни других удовольствий кроме кинофильмов и девочек.

Он встал и двинулся к выходу той решительной, упругой походкой, какую ходят во всем мире лишь фокусники и акробаты.

Случай представился сразу, и это был мужчина, что надо: в шубе на меху, расстегнутой по всему фасаду. Запрудив центральную дверь широченной своей фигурой, он говорил кому-то — неизвестно кому:

— Настоящую акробатку полагается видеть раздетой. И не в цирке, а на квартире, на скатерти, посреди ананасов...

Его глаза, устремленные вдаль, голубые, с зелеными искрами, не обращали на Костю ни малейшего внимания. А тот вдруг возьми да застрянь в самом ответственном месте — в дверях, на многолюдном потоке, как раз напротив. Они толкали друг друга и в результате так перепутались, что трудно было бы отличить, где тут Костин клиент, а где Костя. А шуба еще энергичнее распахнула свою пушистую внутренность, и грудастый, двубортный пиджак сам собою раскрылся, и всё это произошло как фокус, без человеческого вмешательства...

Дыханье мое замирает, а пульс переселяется в пальцы. Они тихонечко тикают в такт с огибаемым сердцем, которое ходит в чужой груди, возле внутреннего кармана, и методично вспрыгивает ко мне на ладонь, не подозревая подмены, не догадываясь о моем волнующем, потустороннем присутствии. И вот одним взмахом руки я делаю чудо: толстая пачка денег перелетает, как птица, по воздуху и располагается у меня под рубашкой. «Деньги ваши — стали наши», — как поется в песне, и в этом сказочном превращении — весь фокус.

Они согреты твоим теплом, дорогой товарищ, и пахнут нежно и духовито, как девичья шея. А ты, ничего не имея, всё еще ими гордишься, и топыришь пустую грудь, рассказывая про акробатку, и смеешься, предвкушая, но ты смеешься и предвкушаешь напрасно. Потому что я вместо тебя поеду на такси «Победа» в ресторан «Киев», и скушаю твои сардинки, и выпью все коньяки и буду целовать вместо тебя твоих женщин — на твой собственный счет, но в полное мое удовольствие. Я не стану купиться и, коли встретимся мы в ресторане, я напою тебя допьяна и накормлю доотвала — той самой пищей, которую ты не сумел вовремя и самостоятельно съесть. И ты еще будешь мне благодарен за это, смею тебя уверить. Ты подумаешь, что я писатель какой-нибудь, артист, заслуженный мастер спорта. А я есть не кто иной, как фокусник-манипулятор. Будем знакомы. Привет!

На улице, в темноте, Константин поднял воротник и только тогда привел в движение лицевую мускулатуру. Она с трудом подчинялась ему и была будто резиновая: удар кулаком — отскакивает. Но Константин манипулировал ртом по направлению к ушам и обратно, пока не вернул всему лицу первоначальную мягкость. Тогда он закурил папироску, сунул ее горящим концом в рот и пошел,

пуская дым из трубы, к ближайшей автомобильной стоянке.



С тех пор у Константина Петровича началась новая жизнь. Заходит он между делом в ресторан «Киев», и едва переступает порог, уже бегут — из глубины — напомаженные официанты, восклицая отрывистыми голосами, наподобие ружейных выстрелов:

— Жалст! Жалст! Жалст!

У каждого над головою поднос, который непрерывно вращается, а там разные вина — красное и белое, или есть еще такое: «Розовый мускат». Одним словом — вся гамма к вашим, Константин Петрович, услугам.

— Нет, — говорит Константин Петрович усталым голосом и отстраняет их вежливо ручкой, — я решительно воздерживаюсь. Плохо себя чувствую и ничего мне в жизни не надо. А давайте мне водки — белая головка — 275 грамм и микроскопический бутербродик из атлантической сельди. Только хлеба черного в бутербродик тот не кладите, а кладите батон с изюмом, да чтобы изюм пожирнее.

И сейчас же официанты — в количестве трех человек — откупоривают цветные бутылки и щелкают салфетками в воздухе, полируя бокалы и рюмки до полного зеркального блеска и обмахивая попутно пылинки с узконосых своих штиблет.

А как выпьешь для порядка 275 грамм, все чувства в твоей душе обостряются до крайности. Ты явственно различаешь и склизлый скрежет ножей, от которого ноют зубы и передергивается спинномозговая спираль, и колокольный звон стекла, пригубленного на разных уровнях, и монотонный мужской припев: «Будем здоровы! С приездом! За встречу! С приездом!» — и вопросительное хохотание женщин, которые чего-то ждут, беспрестанно вертя головами, и охорашиваются нервозно, как перед свадьбой.

В мимике официантов проглядывает обезьянья сноровка. Они прыгают между кадками и пальмами, растущими повсюду как в Африке, и перекидываются жестяными судками с дымящимися борщами, или, изогнувшись над столиком точно над бильярдом, разливают всё что хотите в стаканы — падающим, коротким движением.

Когда вся картина подгулявшего ресторана открывалась внезапно и выпукло взору Константина Петровича, он ощущал в глубине души — где-то в сердцевине хребта —

сладкий, пронзительный, шевелящий волосы трепет. Будто идет он по проволоке на высоте четырехсот метров и, хотя стены качаются, грозя обвалом, он идет упругим и легким, соразмеренным шагом, ровно-ровно по прямой. А публика смотрит во все глаза, затаив дыхание, и надеется на тебя как на Бога: — Костя, не выдай! Константин Петрович, не подкачай, покажи им, где раки зимуют!

И ты должен, непременно должен что-то им показать: сальто-мортале какое-нибудь, или удивительный фокус, или просто найти и высказать какое-то слово — единственное в жизни, — после которого весь мир встанет вверх дном и перейдет во мгновение ока в сверхъестественное состояние. Сердце колотится в груди, как птичка в клетке, душа разрывается на части от любви и жалости, а ты подливаешь и подливаешь ей вина, чтобы продлить терзание, пока, наконец, не поднимешься в полный рост с запакощенного паркета и не гаркнешь на всю Европу:

— Ах, ты! Мать твою так — распростак — так!

После чего Константин Петрович имели привычку стихать, а стихнув, приглашали за столик всякого, кто пожелает, — для бесплатного угощения и задушевной беседы. Чаше других к нему присаживался один печальный мужчина, немолодой и скромно одетый, между прочим еврейской нации, хотя алкоголик, сохранявший на исхудалой груди в знак высшего образования благородную бабочку синего цвета. Звали его Соломон, а помещался он в темном углу, под пальмой, терпеливо поджидая вакансии, ибо деньгами не располагал и пускали его посидеть в ресторане главным образом за культурную внешность.

— Так вот, Соломон Моисеевич, как вы человек образованный, а я четвертого класса полностью не закончил, отвечайте без промедлений: в чем вся суть? И чтобы в едином слове эту самую суть — заключить...

Соломон морщил брови, припоминая все науки, которыми он обучался в различных учебных заведениях.

— Суть явления... явления... представление... — говорил он с запинкой и не мог больше вспомнить ни слова.

Тогда Константин Петрович, чтобы разохотить к беседе, подносил ему бокальчик, но не более как 150 грамм, а то потеряет Соломон Моисеевич свой человеческий облик и не сможет составить компании для сердечного разговора.

— Ну, ладно, ладно — выпил и потерпи! Поговори со мною как человек с человеком. Отвечай: почему я жулик и пьяница, а не стыдно мне в жизни нисколько? Нет, ты

скажи, зачем русский человек всегда украсть норовит? Украсть или выпить? Откуда такая потребность души у русского человека?..

На это Соломон Моисеевич знал научный ответ и, застенчиво кусая огурчик, заходил в изыскании первопричин аж до татарского ига, откуда повелись на русской земле и кабак и тюрьма: всё благодаря культурной отсталости.

— Вот в Англии вы, Константин Петрович, были бы изобретателем... Или депутатом парламента... министром без портфеля...

Его кадък, непропорционально развитый, сновал по отошавшему горлу, а глаза бросали на потолок тоскливые, чужестранные взгляды. Но проникнуть в самый корень жизни он всё равно не умел. Да разве может Соломон Моисеевич понять русскую душу?! И хотя был он алкоголиком по собственным национальным причинам, какую Англию или Бельгию мог предложить он взамен и какую-то свободу печати? — тоже неизвестно...

— А я возьму и оборую твоё британское казначейство! И всё пропью, проиграю до нитки! Душа-то, душа для чего мне дана?! Я тебя про душу пытаю, иудина твоя порода, а ты мне взамен души хер собачачий полносишь!..

Но никогда не бил его Константин Петрович, а наоборот — угощал дополнительно, во второй раз и в третий, и всё за то, что обладал Соломон способностями к разговору. Другой налижется на твои деньги, да тебе же норовит свою биографию рассказать по порядку. Ты и словечка не вставишь. А этот, когда надо, и поспорит, и в раздумье кинется, а когда — сидит и сочувственно помалкивает.

Бывало, расстроится Константин Петрович и — в слезы, и так уж плачет, так рыдает, никак унять не хочет. И всё говорит про свою несчастную жизнь и вспоминает про свою старую маму, которая — в трех шагах отсюда — на железной кровати лежит и с голоду помирает, а он, подлец, вместо того, чтобы к ней бежать и средства на лечение немедленно маме принести, торчит здесь и все денюжки до последней копейки с последней шпаной пропивает.

Слушает, слушает его Соломон Моисеевич, да только молча вздохнет. И хотя знал он достоверно, что нет никакой мамы у Константина Петровича и всё это одна игра ума, изобретенная для усугубления грусти, никогда не разубеждал он его, потому что тоже, значит, был человеком и понимал, что всякому человеку тоже хочется себя подлецом обозвать. А когда принимался Константин Петрович от грустных переживаний икать и биться головкой

об стол, и об стул, и обо что попало, брал он тогда его нежно за плечико и говорил:

— Не кручиньтесь, Костя. Давайте-ка лучше выпьем. И давайте поскорей перейдем к менее печальным предметам. Например, мы давно не говорили о Боге. Как вы считаете — Бог есть?

От этой Соломоновой шутки переставал Костя плакать и начинал постепенно смеяться, понимая тонкий намек, что нет на свете ни богов, ни чертей, хотя было бы очень весело, если бы они были.

Ему случалось заглядывать в церковь. Любил он всякие чудеса, нарисованные на потолке и на стенах в акробатических видах. Особенно ему нравилось, когда один фокусник нарядился покойником, а потом выскочил из гроба и всех удивил. А другой — между прочим, той же нации, что Соломон Моисеевич, — предательски донес на него, но фокусника не поймали, а поймали того самого иуду-предателя и живьем прибили гвоздями к церковному кресту...

Слушая эти истории, Соломон Моисеевич радовался и всё повторял с восхищением, что церковь происходит от цирка, и что русскому народу всего главное — фокусы и чудеса.

Но больше церкви любил Константин Петрович ходить в Сандуновские бани, в семейные номера. Туда одних женатых пускают и в доказательство требуют паспорт, а у него по счастливой случайности там приятель имелся из обслуживающего персонала — инвалид Отечественной войны, Лёшкой звать, — и так всё Лёшка устраивал, что мойся хоть с генеральшей, только чтобы без драки.

Благодаря такому знакомству мылся Константин Петрович по холостяцкому делу с Тамарой, и такие они номера в этих номерах вытворяли, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кому ни рассказывай — никто не верит. Хотя всякий завидует.

— Поиграем, что ли? — спрашивал он Тамару, запирая дверь на защелку.

— Поиграем, — говорила Тамара обыкновённым голосом, а спинкой так и вильнет.

И скинув одёжду — до самых последних кальсон включительно, — начинали они показывать разные редкие штуки. Константин Петрович вешал себе интересным способом шайку промежду ног и барабанил в нее как в барабан, а Тамара плясала народные танцы. Малиновая, запыхавшаяся, покрытая серебряной пеной, она скакала по бане, в которой было жарко как в Африке, а он, гремя железом,

гонялся за нею, и были они похожи на чертей в адской парильне, а также на краснокожих индейцев, которые действительно существуют и ходят нагишом, никого не стесняясь.

Когда же Тамаре наскучивало попусту красоваться, Константин Петрович изобретал другие развлечения. То холодной водичей окатит. То взамен поцелуя накормит Тамару мылом, а с другого конца для потехи употребит указательный палец или химический карандашик воткнет в виде сюрприза.

Всё позволяла ему любящая Тамара. Лишь одного не велела делать: это смеяться не к месту — когда играющие входили в азарт и принимались функционировать друг с другом со страшной силой.

В эти минуты Константина Петровича разбирал смех. Но Тамара, кусая губу, грозила розовыми глазами. Ее лицо, горячее, темное, казалось ожесточенным.

— Молчи! — шептала она. — Молчи! Не смей смеяться!

Потом, отвалившись набок, она вновь бывала доступной и первая хохотала надо всем, что произошло. Перед тем и после того — смейся сколько влезет, а во время этого — не моги.

— Это — грех, большой грех! — твердила убежденно Тамара. Объяснить же свои капризы не могла.

— Да! да! Это — так! — кричал Соломон Моисеевич, систематически хмелевший по ходу рассказа. К концу любовных затей Константина Петровича он бывал порядочно пьян.

— Грех! Не переступи! — кричал он, воодушевляясь. — В игре нет преград! Не убий! Не убий! Бог! Дьявол! «Смейся, паяц, над разбитой любовью...»

Точно сорвавшись с цепи, он говорил бессмысленно и много о загадочном русском характере — теребя исполинский кадык, о загадочной женской натуре — ужасно волнуясь. Всем было известно, что три года назад от Соломона убежала жена — блудливая русская баба, — предварительно обокрав его, а потом опозорив с парикмахером Геннадием шестнадцати лет. Он знал и боялся женщин, имея на то основания. Но что он мог понимать в русском национальном характере, этот Соломон Моисеевич?!



У Лёшки, инвалида войны, была ценная поговорка. «Минёр ошибется только раз». Сам он, Лёшка, испытал

на опыте ее народную меткость: фашистская мина под Берлином оторвала ему правую руку.

Но допущенная ошибка и невозвратимая эта утрата не научила его ничему хорошему, и вот однажды безрукий Лёшка говорит Косте:

— Знаешь ли ты, Костя, или нет, что есть у меня персональная квартирка из трех комнат с балконом и со всеми удобствами? Хозяин третьего дня отбыл в командировку в город Таллин, а хозяйка проживает на даче со своим сыном Вовочкой, который от рождения страдает рахитом и потому должен регулярно дышать свежим воздухом. А няня Вовочкина, приспособленная для охраны имущества, как осталась одна, до рассвета гуляет с ребятами из трамвайного парка, и почему бы ей не пойти к трамваям в ночную смену сегодня, как ты считаешь?

— Я прекрасно понимаю вашу внешнюю политику, — говорит Костя, — но только вы меня трактуете очень уж вульгарно. Я имею дело с живыми существами, а залезать в закрытые окна неизвестно на каком этаже — не в моих правилах. И вообще — стоящее ли это занятие твоя квартирка с балконом? Принес бы ты мне лучше жигулевского пива в номер.

— Перестань ломаться, Костя, и не строй из себя артиста, — говорит ему Лёшка раздраженным тоном. — И не лапай при мне Тамару сразу двумя руками. Это становится даже неприличным. Надевай штаны и давай думать. Минёр ошибается только один раз.

Так они говорили до позднего вечера, а когда закрылись Сандуновские бани, взяли они Соломона Моисеевича, чтобы стоял на шухере, и заграничный браунинг на всякий пожарный случай, унесенный Лёшкой с поля сражения во время Великой Отечественной войны, и пошли, не мешкая, к тому месту, где была припасена для них квартирка со всеми удобствами.

Она стоит на втором этаже, трехкомнатная квартирка, набитая до верху дорогим барахлом — габардином да трикотажем, и двумя костюмчиками иностранной работы, и одним кожаным пальто шоколадного цвета по имени «реглан», — стоит и смеется. Все двери, окошки и даже форточки в ней заперты на двойные запоры и никакой дырки или хотя бы щёлки в наличии не имеется. Возникает естественный вопрос: как туда проникнуть?

Вы, конечно, удивляетесь безвыходной этой картине, и рвете на себе волосы, и готовы сдуру банальным путем действовать через окно с невероятным шумом и треском?

Вот и нет, не угадали, и вам в жизни не разрешить эту задачу.

Но есть на свете, говоря по секрету, один инструмент, по-русски — «отмычка». С нею вам не страшна любая дверь. А для всяких замков — коллекция ключей на все случаи жизни.

А тишина такая, братцы, кругом, что плакать хочется.

— Задерни шторы, а то снаружи вилят, — приказал Константин однорукому Лёшке и поиграл револьвером

— Регланчик достанется мне и тросточка тоже мне!

Ему понравился набалдашник у трости, разделенный на две половинки — по образцу филейных частей, но в меньшем масштабе. Ходишь с тросточкой по панели и непрерывно набалдашник ошупываешь, и можно девушкам показывать — для смеху и смущения — при первом знакомстве. Такую вещь обязательно надо иметь при себе — и в доме, и на прогулке.

Вдруг чувствует Костя: в соседней комнате кто-то неожиданно спит. Он — туда и видит в постели — кого бы вы думали? хозяйку? — нет! хозяина? — тоже нет! спящую няню в одной сорочке? — это было бы хорошо, но всё равно — нет! и еще раз нет! и вы опять просчитались! — он видит небезызвестного вам господинчика с приятными усиками, но без галстука и без пробора. Впрочем, пробор в состоянии тряпки висел отдельно на спинке стула, а рядом стояли в полном порядке лаковые полботинки, а больше здесь не было ни единой души.

Самый настоящий Манипулятор из настоящего цирка храпел во все горло на хозяйской кровати или делал вид, что храпит, а сам приготовлялся к прыжку.

Как впоследствии оказалось, Манипулятор — на свою лысую голову — сбежал накануне к другу детства, чтобы отдохнуть от семьи, но вместо этого угодил под ночную манипуляцию Кости — к их взаимному неудовольствию и трагическому концу.

Но ничего этого Костя не знал в тот кульминационный момент и был очень разочарован внезапным появлением гостя, о чьей магической ловкости он имел понятие, посетив государственный цирк каждое воскресенье. Этот чорт фокусник мог бы голыми руками кого хотите обездоложить и что хотите украсть, и Костя наставил огнестрельное оружие на своего наставника, чтобы тот не вздумал, если проснется, выкинуть какой-нибудь трюк.

— Шуруй потише в комод, — приказал он шопотом

Лёшке. — Да помни: тросточку с изображением задницы я забираю себе.

И от этих ли слов или от чего другого Манипулятор открыл глаза и сделал их вот такими, и не успел Костя предупредить его «— Спокойно! а то застрелю!», как он закричал в полный голос, звучавший очень противно:

— Караул! Убивают!

Мужчины в большинстве случаев под наведенным на них револьвером поднимают руки вверх и с зачарованным видом молчат. А женщины — вопреки рассудку — визжат и барахтаются и, бывает, кусаются, но им тоже можно по-свойски втолковать ситуацию, и они ради продолжения жизни будут плакать в подушку.

Но на сей раз Косте встретился сущий злодей, не обращавший никакого внимания на дуло заграничного браунинга. С глазами на обе щеки, он сполз на пол с кровати и, как был, в сплошном опупении, в исприглядном своем естестве, сиганул к двери балкона. Стекло разлетелось вдребезги, и на всю улицу, над умиротворенными крышами, прокатилось многократное эхо:

— Караул! Караул! Убивают!

И чтобы прекратить безобразный и действующий на нервы скандал, Костя, почти плача, выстрелил ему в спину между малокровными лопатками, и в том была его — Кости — роковая ошибка, а минёр, как известно, товарищи, ошибается только раз. Потому что, если по существу разобраться, нужно было бы не стрелять, не испускать опасные звуки, а дать Манипулятору в голое темя каким-нибудь веским предметом, например, рукояткой и, оглушив шума, без лишнего шума продолжить осмотр помещения.

А Костя, вместо того чтобы решительно действовать, надавил слегка пальчиком спусковую пружину, и немецкая злая пружина сама собою сработала — только и всего. Только и всего, но сразу Манипулятор заметно притих. Он больше не кричал, он булькал губами и дудел, и клокотал в горловину, изображая с большой тщательностью протяжные хрипловатые трели — сложное искусство полоскания рта на высоких и низких регистрах.

Спервоначально казалось, что, покривлявшись для форсу он сядет на полу и отхаркается, и заявит во всеулышание, что обманул их ради испуга. Но, видно, этот артист давал гастроли навывнос и, вдохновленный выстрелом Кости, разыгрывал коронную роль, превращаясь чудесным образом в мертвого человека, сознающего свое превосходство над

оставшимися в живых. Его лицо удалялось с плавностью парусной лодки, приобретая природную гордость камня и отвердевшей воды. Он умер незаметно, даже не подмигнув на прощание и оставляя Костю в растерянности перед содеянным фокусом, который в равной мере принадлежал им обоим.

Это зрелище было испорчено появлением Соломона Моисеевича. Он честно стоял на шухере в темном сыром подъезде, а теперь прибежал в квартиру, задыхаясь от гипертонии, чтобы сообщить товарищам о грозящей опасности со стороны разбуженных дворников и дремлющих милиционеров.

— Зачем вы устроили шум, Константин Петрович? — сказал он в глубокой тоске, ничего не видя вокруг. — Я же предупреждал: надо быть осторожным. Пистолет может выстрелить безо всякого нажатия курка — от обычного колебания воздухом...

Костя не стал спорить... В дверях два дюжих дворника крутили за спину Лёшке единственную левую руку. Лёшка отбивался ногами и говорил:

— Пустите, гады!

Понимая, что сопротивляться беспечно, Костя поднял руки, но всё же не мог отказаться от маленького удовольствия: все заряды, сидевшие в браунинге, он пулянул в потолок и тем оставил по себе веселую, добрую память. Милиционеры попадали на пол, а потом кинулись к Косте и скоренько его разоружили. Так была загублена в расцвете красоты и здоровья молодая жизнь Константина Петровича.

Правда, перед грустным финалом он имел хороший спектакль при большом стечении публики, на суде. Прокурор ему попался строгий, как полагается, и требовал для Константина Петровича высшей меры наказания через настоящий расстрел. А защитник, тоже не лыком шитый, всячески упирал на смягчающее слабоумие подсудимого. Все взгляды мужчин и женщин были прикованы к Константину Петровичу, и стоя в центре арены, он испытал много чудных мгновений, щекотавших его ревнивое артистическое самолюбие.

Суд приговорил Константина Петровича к двадцати годам заключения с конфискацией имущества, движимого и недвижимого. Но регланчик и заветную тросточку он утратил значительно раньше и теперь, увидев от расстрела, не слишком тужил по поводу предстоящего срока.

А Лёшка и Соломон Моисеевич получили по десятке на каждого.

В строю таких же, как он, обиженных судьбою людей, Костя шел неспеша на работу в одно прекрасное утро. Они держали руки сложенными за спиною в знак потерянной воли и вынужденной покорности. Вокруг порхали птички, свободные обитатели края, одуряюще пахли цветы, травы, кусты. Всюду летали прозрачные и легкие одуванчики. По бокам, спотыкаясь от скуки и собственной никчемности, брел небольшой конвой, куря большие сигарки.

Вдруг на фоне этого мирного пейзажа произошло смятение. Старик-охранник, бросив недокуренный тубик, завопил испуганным голосом:

— Стой! Стой! Застрелю!

Но Костя уже летел над бугорками и кочками, отталкиваясь от мягкой земли жилистыми ногами. Ветер преспокойно играл у него на оживленном лице. Вдалеке лиловел лес — вечное прибежище соловьев-разбойников.

Косте виднелось пространство, залитое электрическим светом, с километрами растянутой проволоки под куполом всемирного цирка. И чем дальше он улетал от первоначальной точки разбега, тем радостнее и тревожнее делалось у него на душе. Им овладело чувство близкое вдохновению, когда каждая жилка играет и резвится и, резвясь, поджидает прилива той посторонней и великодушной сверхъестественной силы, которая кинет тебя на воздух в могущественном прыжке, самом высоком и самом легком в твоей легковесной жизни.

Всё ближе, ближе... Вот сейчас кинет... сейчас он им покажет...

Костя прыгнул, перевернулся и, сделав долгожданное сальто, упал на землю лицом, простреленной головою вперед.

1955 г.

## Т Ы И Я

И остался Иаков один. И боролся некто с ним, до появления зари...  
Бытие, XXXII, 24.

### I

С самого начала эта история имела странный оттенок. Под предлогом серебряной свадьбы Граубе, Генрих Иванович, пригласил к себе на квартиру четырех сослуживцев и тебя в том числе, причем тебя в тот вечер он звал так настоятельно, как будто твое присутствие было главной заботой их сборища.

— Если вы не придете, я смертельно обижусь! — сказал он с ударением и навел на тебя глаза, подобные выпуклым линзам.

Там гипнотически вздрагивали ледянистые искринки зрачков.

Понимая, что нельзя преждевременно выказывать свои подозрения, иначе он догадается и примет меры, тобою не учтенные и наверняка еще более хитростные, ты вежливо согласился. Ты даже поздравил Граубе с фиктивным его юбилеем. Для каких целей он тебя зазывал, было неизвестно, но сердце твое сжалось от дурного предчувствия.

Действительно: едва ты вошел — гости повскакали со стульев, на которых они притаились в ожидании твоего появления. Два твоих сослуживца — Лобзиков и Полянский — обрадованно перемигнулись.

— Вот и он!

— Пора начинать!!

Тем самым они обнаружили свои коварные умыслы, и хозяин, Генрих Иванович, чтобы запутать следы, был вы-

нужден дать сигнал всем садиться за стол. Но ты и вида не показал, что придаешь значение угрожающей фразе — «Пора начинать!!» Как будто в ней, в этой фразе, обреченной подручными Граубе, не заключалось ничего подзвучивающего, а всего лишь невинный свадебный план: выпивать и закусывать.

— Поднимем наши рюмки! — воскликнул ты очень громко и по возможности весело. — Пусть за серебряной свадьбой воспоследует золотая! Ура!!

Все подняли рюмки и чокнулись, а ты, учтя обстановку, выплеснул водку под стол — в тот благоприятный момент, когда они, закатив глаза, тянули жидкости в честь Генриха Ивановича Граубе и его мнимой супруги.

Да! в этой компании жена и хозяйка дома была ни тем и ни другим, а подставной фигурой. Скорее всего это был переодетый мужчина. Его тщательно вымыли, напудрили, припомадили и теперь выпускали за даму с двадцатипятилетним стажем. Именно этим фактом объяснялась брезгливая мина, с какою Генрих Иванович в знак семейного счастья поцеловал публично ее, то бишь — его — в протянутые мускулистые губы. На какие жертвы не шли эти люди, чтобы завлечь тебя в сети и погубить!

Тут было одних бутылок — рублей на 280, не считая жареных уток, грибов, осетрины. Да еще, вероятно, к чаю был куплен ореховый торт, печенье разных жанров, конфеты — на худой конец — фруктовые, по двадцать два рубля, дешевле не обошлось. А масло? сахарок? хлебные изделия?..

Итого восемь сотен по меньшей мере уплачено. Или — десять тысяч, если принять во внимание, что мужчинам, исполняющим дамские функции (у Лобзикова и Полянского жены тоже наверняка подложные), потребовались туалеты и всякие душистые специи, хотя белье на них — свое, казенное, а может — опять покупное, колоритное, в кружевах: для полного правдоподобия — если придется кокетничать...

И вся эта крупная сумма в размере пятнадцати тысяч была вынута из банков ради тебя одного. Ты отчасти гордился, подсчитывая расходы, но помнил ежеминутно, что дело твое плохо, раз уж смета утверждена и финансы отпущены.

Гости стремительно ели, стуча ножами и вилками, и при помощи этих звуков поддерживали тайную связь на шифрованном коде, вроде азбуки Морзе. «Пора начинать! Пора начинать!» — выстукивал нетерпеливый Полянский,

который с давней поры тебя невзлюбил, потому что начальство по указанию свыше повысило тебе ставку, а ему — нет, и правильно сделало.

А Ловзиков — приятель Полянского по пословице «два сапога пара и рука руку моет» — захватил в обе руки большую порцию утки и выкусил ей бок, намекая своим поступком, что аналогичный конец в иносказательном смысле постигнет и тебя. При этом известии гости, чмокнув сальными ртами, дружно ударили ножами в тарелки: «— Постигнет! Постигнет!» Но Генрих Иванович Граубе, сидевший во главе заговорщиков, покачал слегка головой и пригубил задумчиво рюмку, в которой еще светилась недопитая жидкость. Тем самым давалось понять, что надо с полчаса выждать, пока ты не захмелеешь как следует и не перестанешь всё замечать.

Тогда Вера Ивановна Граубе, вернее сказать — мужчина, загримированный под Веру Ивановну, обратился к тебе со словами, звучавшими очень прозрачно:

— Почему наш скромный друг вовсе ничего не кушает и совсем ничего не пьет?

Произнес он эту фразу тончайшим девичьим голосом, как если бы в самом деле был какой-нибудь женщиной. Виртуозная писклявость стоила ему трудов и противоречила конфигурации — боксера в тяжелом весе.

— Ах! — сказал он с чувством и едва не порвал связи. — Вы знаете, этих уток я приобрела на Ваганьковском рынке. Разве теперь в магазине найдешь порядочный стол?

При этом провокационном вопросе гости перестали жевать и уставились на тебя в нетерпении, как ты ответишь. Одно слово сочувствия — и всё было бы кончено. Ушные раковины Граубе, растопыренные будто наушники с обеих сторон головы, повисли над столом. Взгляд Генриха Ивановича, снайперский, микроскопийный, рыскал по твоему лицу. В дополнение ко всему тебе внезапно почудилось, что кто-то невидимый и всевидящий глянул в это мгновение (в окно ли, со стены, или сквозь стену?) — на тебя и на всех сидящих выпрямленно перед тарелками, словно их собирались фотографировать для группового портрета.

Сознавая, что нельзя промолчать, иначе твое молчание может быть сочтено за согласие с твоей стороны, за нелегальное соучастие в имевшей место диверсии, ты посмотрел, не мигая, в скульптурную переносицу Граубе и вымолвил отдельно и четко, как только мог:

— Нет! — сказал ты. — Напрасно! Напрасно Вера Ивановна недооценивает нашу городскую и сельскую торго-

вую сеть. Утка, курица и даже гусь, и даже редчайшая в мире птица — индейка продается в нужном количестве во всех магазинах, сколько захочешь!

Вздых разочарования и какого-то при том облегчения пронесся по комнате. Граубе покраснел и сказал в полном расстройстве нервного аппарата:

— Судьба — индейка, жизнь — копейка...

Он пытался что-то прибавить, безусловно столь же двусмысленное. Но Лобзиков уже цыкал продырявленным зубом, и это был у них такой знак к отступлению. Гости опустили глаза — кто в блюде, кто прямо на скатерть. А тот всевидящий глаз, который наблюдал за всеми, иронически прищурился над незадачливыми своими разведчиками и растекся желтым пятном под цвет желтых обоев, будто его и не было.

2

Шел снег и падал мне на ресницы, и на шапку, становившуюся от этого еще пушистее, и на крыши. Стоило прищурить веки и между ними появлялись игрушечные снежные домики. Сквозь них лучи фонарей просвечивали совсем лучезарно, создавая какое угодно северное сияние. Оно наполняло небо, потом съезжало вниз и там понемногу оттаивало. Внезапно поле зрения расплзлось слепой распутицей, и желтая слеза, пополам с искристым снегом, вытекала из моего глаза — на нос, на фонари и на крыши, покрытые тем же снегом наподобие хижин.

Всякий раз, когда, спохватившись, я утирал варежкой очередную слезу, природа вновь удостоверяла меня, что снег еще падает и будет падать еще долго, быть может целую вечность. Было то блаженное состояние суток, при котором никому не ясно, который теперь час, потому что небо, опадающее снегом на землю, могло спокойно сойти за день благодаря своей светлоте, а также — за ночь по обратной причине. Скорее всего было раннее зимнее утро, затянущееся до вечера. Хотелось лечь спать, зарывшись с головою в сугроб, и проснуться, и чтобы снег еще шел, преградив течение времени.

Погода меня восхищала. Если бы я был двенадцатилетним ребенком на манер мальчика Женьки, спешащего по улице Кирова с коньками системы «гаги» под мышкой, мне бы казалось, что дома меня поджидает елка, обтянутая золотой канителью, и книжка с картинками «Дети капитана Гранта». Такое же предвкушение тайны вызывала

одна брюнетка у Николая Васильевича, бегущего под хмельком по морозцу в твердой уверенности, что она его примет в горячо натопленной комнате, как принимала дважды к обоюдному удовольствию, и почему бы — думал он — в третий раз ему вдруг сплеховать, если коньяк уже действует, а в брюнетке еще много специфической этой таинственности.

Так постепенно, сквозь сугробы и стены, в том числе сквозь спину Николая Васильевича, пронизанную электрическим светом и удалявшуюся по наклонной к брюнетке, мне представилась панорама.

Шел снег. Толстая женщина чистила зубы. Другая, тоже толстая, чистила рыбу. Третья кушала мясо. Два инженера в четыре руки играли на рояле Шопена. В родильных домах четырехста женщин одновременно рожали детей.

Умирала старуха.

Закатился гривенник под кровать. Отец, смеясь, говорил: «— Ах, Коля, Коля». Николай Васильевич бежал рысцой по морозцу. Брюнетка ополаскивалась в тазу перед встречей. Шатенка надевала штаны. В пяти километрах отсюда — ее любовник, тоже почему-то Николай Васильевич, крался с чемоданом в руке по залитой кровью квартире.

Умирала старуха — не эта, иная.

Ай-я-яй, что они делали, чем занимались! Варили манную кашу. Выстрелил из ружья, не попал. Отвинчивая гайку и плакал. Женька грел щеки, зажав «гаги» под мышкой. Витрина вдребезги. Шатенка надевала штаны. Дворник сплюнул с омерзением и сказал: «— Вот-те на! Приехали!»

В тазу перед встречей бежал рысцой с чемоданом. Отвинчивал щеки из ружья, смеясь рожал старуху: «— Вот-те на! Приехали!» Умирала брюнетка. Умирал Николай Васильевич. Умирал и рождался Женька. Шатенка играла Шопена. Но другая шатенка — семнадцатая по счету — все-таки надевала штаны.

Весь смысл заключался в синхронности этих действий, каждое из которых не имело никакого смысла. Они не ведали своих соучастников. Больше того, они не знали, что служат деталями в картине, которую я создавал, глядя на них. Им было невдомек, что каждый шаг их фиксируется и подлечит в любую минуту тщательному изучению.

Правда, кое-кто испытывал угрызения совести. Но чувствовать непрестанно, что я на них смотрю — в упор, не сводя глаз, проникновенно и бдительно, — этого они не умели. В своем заблуждении они поступали, может быть, очень естественно, но в высшей степени недальновидно...

Внезапно мой глаз наткнулся на препятствие и дрогнул как от толчка. Это был человек, которого нельзя не заметить. На пустой, заснеженной улице он привлекал внимание тем, что то и дело оглядывался. Даже зайдя в помещение, окруженный вином и закуской, обласканный гостеприимным хозяином, он держал себя словно преступник, которого вот-вот схватят и уличат.

Ничто не угрожало ему, и я рассудил здраво, что в нем дает знать предчувствие моего присутствия. Должно быть, он уловил на себе мой острый взгляд, и корчился под ним, не понимая, в чем тут загвоздка, приписывая окружающим людям силу, не принадлежащую им. Ему казалось, что за ним кто-то персонально следит, и это был — я, а он думал — они, и это меня рассмешило. Я сосредоточился на нем, я взял его крупным планом в световое пятно зрачка. Он был как бактерия под микроскопом, и я его рассматривал во всех жалких подробностях.

Был он рыжеволос и лицо имел очень белое, нежное, не поддающееся никакому загару, лишь кое-где окрашенное выцветшими веснушками, которые, однако, сотнями усеивали его руки, переходя на фалангах в густую темную сыпь. Одет же — щеголевато, выглажен в свежую складку, в новом галстуке и в чистых носках, что при его возрасте и холостом положении служило признаком зачатной гордости, если не женолюбия.

Впрочем, последнее предположение скоро отпало. На женщин за столом он не реагировал, принимая из за мужчин. Исключение представляла разве что библиотекарша Лида, сидевшая от него справа. Он знал ее по министерству, пользуясь в тамошней библиотеке журналом «Kunststoffe» и детективами в переводах, и мог надеяться, что она не вымышленный агент, а самая что ни на есть настоящая библиотекарша Лида.

Лида была тоже девушка с фантазиями, по молодости и доброте никому не отказывающая. Генрих Иванович Граубе имел с ней мимолетный роман двухгодичной давности и теперь, из сострадания, пригласил на семейный праздник. Она много и молча пила, безучастная к происходящему.

Это не прошло мимо моего подопечного. Выплеснув под стол вторую рюмку вина, он склонился к Лиде и произнес, так чтобы все услышали:

— Лида, я вас люблю!

Ты никогда не был развратником. В любви ты предпочитал не кривить душою, не давать пустых обещаний и бездоказательных клятв, а скромно платил по таксе и 25, и 30, и, бывало, 50 рублей наличными и получал без греха, по взаимной договоренности, причитающееся тебе возмещение. Зато ни скандалов, ни судебных издержек ты по этой части не знал и, хотя Полянский говаривал, что жена ему обходится дешевле проститутки, примерно по 15-ти рублей за сеанс, ты полагал, что лучше в этом деле переплатить, чем мучиться после всю жизнь.

Если же случались денежные затруднения, ты мог существовать без ничего и месяц, и даже год, не заигрывая с чертежницами и министерскими машинистками. Пригласишь такую в кино, а после не оберешься хлопот за один паршивый щипок чуть повыше колена. С честной женщиной никогда не известно заранее, согласна она или нет, и эта небезопасность всегда тревожит и душевно ослабляет. Лучше пусть сразу скажет — «нет!» — и идет своей дорогой.

Поэтому, когда, наклонясь к Лиде, ты взялся вдруг за ней ухаживать, это было вызвано крайней необходимостью. Достоинство отразив первую атаку Граубе, ты чувствовал всё же, что перевес остался на его стороне. Того и гляди вновь последует нападение и нужно их опередить во что бы то ни стало.

Бывает же так: приходит в гости человек пожилой, серьезный, даже, например, академик, а выпьет рюмку-другую и — смотришь — он уже хозяйское серебро в карманы укладывает или стишок интимного содержания вслух декламирует и, сидя под столом, не желает выходить на поверхность... К действиям подобного рода относятся у нас снисходительно. Ну, пожурят, посмеются, — что ж ты, Вася, сукин кот, — скажут, — честь мундира на пол роняешь и своим пьяным рылом на родную академию тень отбрасываешь? Но при всем при том похлопают по плечу, ободрят, поддержат. Потому сразу видно — свой парень, в гимназиях не обучался и в моральном смысле чист как Иисус Христос. Такой военную тайну не разгласит и родине в решительный момент не изменит. Такой человек в один миг оказывается вне подозрений и ему хорошо.

Подобная участь вызывала в тебе зависть. Ты домогался ее с помощью библиотекарши Лиды, единственной женщины, способной спасти твою репутацию. Обнаружив

Лиду рядом, на расстоянии менее метра, ты воскликнул в наитии:

— Лида, я вас люблю!

Сыщики переглянулись растерянно, а Лида, не веря своим ушам, сидела неподвижно. Ее ключицы сиротливо торчали на декольтированной впалой груди. Острый приподнятый локоток походил на утиное крылышко, обглоданное до основания.

— Лида, я люблю вас! — повторил ты еще громче и обхватил ее вялыми пальцами чуть повыше колена.

— Не надо при всех! — сказала шопотом Лида и благодарно погладила твою руку, сжимающую ее ногу. Так началась ваша любовь — в игре со смертью, на глазах у преследователей, сбитых с толку твоим неожиданным темпераментом.

Ты не медля организовал кипучую, шумную деятельность. Лучшие куски пищи ты выхватывал у гостей из-под носа и с возгласом «— Это для вас!» подносил демонстративно Лиде, громоздя вокруг нее съедобную баррикаду. Параллельно тобой выкрикивались нежные имена и прозвища:

— Лидочка! Лидунчик! Леденчик! Лидястая лидидилька-фургончик!

Скосив глаз, ты видел, что всё это производит впечатление.

— А мы не знали, что вы повеса, — признался с деланным смехом сыщик боксерской наружности, изображавший Веру Ивановну. — Мы всегда считали — тихоня, скромник, себе на уме...

Он был сильно оконфужен в своих расчетах и подозрениях, но всё еще сохранял видимость хозяйки дома, юбилейной жены Генриха Ивановича Граубе.

— Что вы, что вы, Вера Ивановна! — возразил ты ему с живостью. — Чего скрывать? От кого скрывать? Не скрывая, во всем признаюсь: я — невероятный дон-жуир, в особенности когда захмелею.

В подтверждение этих слов ты, шатаясь как пьяный, подошел к нему вплотную и, поборов врожденную робость, потрогал осторожно одной рукой в бурых и оранжевых крапинках — приделанный к его груди выпуклый камуфляж. Так ты и знал: это была всего-навсего резиновая подушка, надутая пустым воздухом.

— Да вы шутник! — пропищал испуганно сыщик и откинулся назад в кресле, должно быть не желая до конца разоблачать свою фикцию. А ты колеблющейся походкой

вернулся к Лиде и, чтобы она не ревновала, укусил ее тихонько за локоть.

— Не надо при всех, — шептала Лида в смущении. — Лучше выйдемте на минуточку, если вы так настаиваете...

Генрих Иванович позеленел от тоски по поводу сорванной провокации. Теперь-то с него непременно взыщут свадебные затраты.

— Я оскорблен как человек! — воскликнул он, обращаясь к Лобзикову и Полянскому с лицемерным возмущением в голосе.

Те беззвучно хохотали, раскачиваясь как метрономы.

— Какой страстный мальчик! Нет, вы подумайте, какой страстный мальчик! — лепетал освидетельствованный боксер по кличке «Вера Ивановна».

Тут тебя осенила новая блестящая мысль: воспользоваться скандалом и убежать от них вместе с Лидой под видом неудержимых эмоций. Бывает же так. Порыв страсти, зов предков, борьба за женщину, Зигмунд Фрейд и Стефан Цвейг.

Как это делают пьяные, желающие впасть в амбицию, ты сказал, махая руками по всей комнате:

— Лидия, я вас похищаю. Идемте вон отсюда. Пусть эти люди без меня ведут свои разговорчики. Им будет удобнее без меня охаивать государственных уток. Что — я? Я — ничего, вполне лоялен. А вас, Генрих Иванович, вас я вижу насквозь.

И ты посмотрел ему прямо в глаза его же собственным пронизательным взглядом, будто не ты, а он сам находил ся у тебя на примете.

— Да! Да! Да! Я вас вижу насквозь!..

Лида покорно собирала пожитки: сумочку, губную помаду. Козью шубейку, облезлую на две трети, ты ей подал сам. Вы ушли, хлопнув дверью перед пустоглазой физиономией Граубе, который стоял с разинутым ртом, видимо не имея полномочий задерживать тебя силой.

Падал густой снег. Он принял тебя и Лиду в свои бесшумные толпы. Казалось, тысячи, миллионы парашютистов на белых, как снег, парашютах летят с неба и захватывают притихший город сплошным воздушным десантом. Некоторые, прежде чем приземлиться, кружились вокруг да около, выбирая местечко помягче, куда бы сесть...

Снегопад мешал тебе видеть маневры противника, который до того изловчился, что преследовал тебя по пятам замаскированный снежной завесой. Ты же — в черном

пальто — был хорошим ориентиром. У тебя имелось только одно прикрытие — Лида.

Несомненно Генрих Иванович выслал за вами опытных экспертов — проверить, чем вы будете с ней заниматься, оставшись наедине. Он был достаточно догадлив, этот Генрих Иванович, чтобы не принять за чистую монету твой поспешный роман. Поэтому, идя с Лидой по улице, ты продолжал гнуть свое и спотыкался, как пьяный, а также высказывал Лиде и всем, кто мог это слышать, разные фразы и предложения, вплоть до предложения выйти за тебя замуж.

Лида приживалась доверчиво к твоему боку и говорила себе под ноги, всхлипывая от счастья:

— Почему я раньше с вами не встретилась — в семнадцать лет, когда была совсем девушкой, но вполне созревшей?..

Но тебе не было дела ни до прошлого ее, ни до будущего. Ты принимал ее как есть, нетрезвую и влюбленную, с вытертым мехом на груди, служившей тем не менее удобной защитой твоему лицу, похудевшему от пережитых волнений. И говоря ей про любовь, ты думал с воодушевлением о том сладком моменте, когда ты проводишь Лиду и вернешься преспокойно домой, в изолированную квартиру, и ляжешь с легкой душой в чистую пустую постель.

Время от времени ты останавливался и, повернув Лиду вокруг оси резким, нетерпеливым движением, целовал ее в рот и в блаженно прикрытые веки. И целуя, зорко всматривался поверх ее головы, предупредительно запрокинутой, в мутноватую даль за собою, где мельтешили попеременно — мрак и снег, снег и мрак.

За вами подглядывали. Но хотя ты не мог как следует уловить выражение глаз, отовсюду на тебя устремленных, тебе хотелось гордо сказать перед всем миром:

— Что ж, смотрите, я — не боюсь! Вы же видите — я занят делом, я люблю свою Лиду и с меня взятки гладки...

#### 4

Четвертые сутки он находится в поле моего наблюдения. Я кажусь ему питоном, чей хладнокровный взгляд лишает кролика чувств. Его представления обо мне — сущий вздор. Но если даже принять за основу эти нелепые фантазии, я не знаю, кто из нас кого держит на привязи: я его, или он — меня? Мы оба попали в плен, не в силах оторвать друг от друга застекленевшие взгляды. И хотя он

не видит меня, из-под его белесых ресниц бьет в моем направлении такой сноп страха и ненависти, что мне хочется крикнуть: «Перестань! Не то проглочу! Стоит мне захлопнуть веки — и ты пропадешь, как муха!» Это состязание начинает меня утомлять.

— Глупец! Пойми — ты живешь и дышишь, пока я на тебя смотрю. Ведь ты только потому и есть ты, что это я к тебе обращаюсь. Лишь будучи увиденным Богом, ты сделался человеком... Эх, ты!..

К моим дружеским уговорам он прислушиваться не желал. На всё у него имелись свои резоны. Четвертые сутки он не спал, чтобы не дать себя застигнуть врасплох, и по ночам лежал на диване в состоянии боевой готовности, в пиджаке и в брюках, теперь уже изрядно помятых, в ботинках, туго зашнурованных, и таращился в темноту.

Перед ним от напряженного всматривания возникали круги и пятна разного колера. Они представлялись ему глазами: без носов, без ушей — только одни глаза. Буркалы, зенки, гляделки, лупетки — карие, серые, голубоглазые — летали по комнате, хлопая ресницами, и пристраивались у него на груди для отдыха. Когда он приподнимался, они вспархивали и парили над его головой, изредка помаргивая широко раскрытыми крыльями.

Утро не приносило спокойствия: ему казалось, что на свету — он еще заметнее. Мне же, право, было без разницы — что день, что ночь. Никакие ширмы, затемнения не могли избавить меня от него...

Особенное неудобство он испытывал в клозете. Понуждаемый своей природой, которую он недолюбливал и смущался выставлять напоказ, он прикрывался газеткой, гримасничал, насвистывал арии или, желая меня заинтриговать, напускал на себя вдруг большую задумчивость — и все это с одной целью: переключить мое внимание в район своего лица и там на некоторое время удержать. Как будто меня интересовали эти его глупости!..

От нервных мыслей, что я всё вижу, моча у него не текла и мышца прямой кишки тоже не сокращалась. Мне было совестно за него, и при виде этих мучений я мучился вместе с ним из-за его бестактности.

Ах, если бы то была мания преследования, какую страдают иногда люди высокоодаренные сознанием своей вины и очевидной ничтожности! Нет, скорее был он одержим другим недугом, именующимся в медицине «mania grandiosa». Вселенная имела одну заботу: лично ему досаждать. И выбегая поутру в город за хлебом и колбасой, он всё, что

попало ему на глаза, беззастенчиво относил на свой счет.

Москва кишела подставными фигурами. Они делали вид, что не глядят в его сторону (а сами нет-нет да посмотрят исподтишка). Они прикидывались случайными встречными и фланировали по улице с отсутствующим выражением лиц, но были почему-то все одеты единообразно, по форме, в матерчатые темные ботики. Другие — в белых маск-халатах — имели обличье мороженщиц. Никто у них никогда ничего не покупал.

Но всего отвратительнее были дома — многооконные, глазастые твари...

— Какое приятное совпадение! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы — в Москве? Вы еще не уехали? А как же ваша язва?..

Ты обернулся. Это был, конечно, Генрих Иванович, уцепивший тебя за плечо возле самого гастронома. На второй день после так называемой «свадьбы» ты взял отпуск в министерстве под видом неполадок в желудке. Служивцам было объявлено, что тебе прописана Ялта, но отпуск ты, разумеется, проводил у себя взаперти. Какова же была радость этого вездесущего Граубе, когда вместо язвы и Ялты он поймал тебя на улице, с поличным, в момент короткой вылазки за провиантом!..

Пока ты подыскивал доводы затянувшемуся отъезду, Генрих Иванович приобнял тебя бесцеремонно за талию и потащил прочь с тротуара. Через пять шагов вы очутились во дворе — по всем признакам в ловушке, заваленной почему-то кучами пожелтевшего снега. Должно быть, у Граубе были на это санкции.

— Понимаю! Понимаю! Шерше ля фам. Ни о чем не спрашиваю. Бывали и мы рысаками.

Он прыгал вокруг тебя, будто норовил укусить, и грозил указательным пальцем, не выпуская из круглой ладошки тяжелый министерский портфель.

— А мне, родной-дорогой, с глазу бы на глаз. Ах, проказник! Жена до сих пор с удовольствием вспоминает. Здорово мы тогда! Смеху-то было, смеху! А вы и поверили старой дуре? Ей бы уток жарить, гостей угощать, только и всего... Ведь вы пошутили — я сразу понял. «Насквозь, — говорит, — насквозь вижу!» Ха-ха-ха! ах-ах! Ах, вы, проказник! Хотите на колени встану? Шучу-шучу, не сердитесь. Из одного уважения. Может, вы, родной-дорогой, обиделись на меня? Что-нибудь из-за Лиды? Простите старого дурака. Для вас ничего не жалко. С руками, с ногами. Кушайте на

здоровье. Дело прошлое. Кто старое помянет. Сами понимаете — вроде отца. Христофор Колумб, первое всех. Раньше Лобзикова и раньше Полянского. Жалко же все-таки. Ну и взыграло ретивое. Бывали и мы рысаками. А вы туда же, принципиальный вы человек: «вижу, вижу, вижу насквозь!» К чему такое? Тихо-мирно. Ну, хотите — на колени встану? Только для вас, из одного уважения. Хотите?

И не успел ты понять, что это значит, как Генрих Иванович Граубе — при шляпе и с портфелем в руке, — наскоро оглядевшись, упал в снег на колени. Его массивная физиономия, пожелтевшая под цвет обстановки, была исполнена грусти иблагородной просительности.

На одну секунду тебе в голову пришла дикая мысль: быть может Генрих Иванович сам тебя опасается?..

Но ты отогнал иллюзии. Ты вовремя сообразил, какая высшая стратегия заключена в униженной позе. Снизу, из грязи, виднее, уязвима душа человека. Снизу ты легче доступен. Упавший перед тобой на колени имеет уже те преимущества, что может в любую минуту схватить тебя за ноги и уронить на спину.

Поэтому, не дожидаясь, ты с криком отпрянул в сторону и, видя, как брови Граубе лезут от удивления вверх, ударил его по лицу, не в бровь, а в глаз... В воротах ты обернулся. Генрих Иванович сидел на снегу, толстый портфель лежал перед ним плашмя. Одной рукой Граубе закрывал половину лица. Но здоровой половиной он продолжал смотреть на тебя.

— Погодите! Не уходите! Уверю вас — вы ошибаетесь, — говорил он, шмыгая носом и тихонько повизгивая. — Какой же я соперник? Вы зря волнуетесь. Моложе меня. Поберегите здоровье. Лида сама к вам явится, только свистните. Хотите скажу ей — не поехали в Ялту? Сама прибежит. Хотите?

Но ты не поддался на приманку. Со всех ног, забыв о накупленной колбасе, ты бросился домой и там заперся.

5

В тот же вечер к нему пришла Лида. Она позвонила два раза — никто не отзывался. В дверную щелку для писем виднелся кусок прихожей, тусклой и захлавленной второстепенной домашностью. Наискось, на полу стояли ноги. Лида их узнала по ботинкам и брюкам. Всё остальное находилось вне доступа.

— Это — я — Лида! Откройте, Николай Васильевич! — крикнула Лида радостно в письменное отверстие.

К ее удивлению, знакомые ноги не сдвинулись с места. Они чуть заметно вздрагивали, но к ней навстречу не шли. Выждав для приличия, Лида позвонила еще раз.

Шумело отопление. Внизу, на первом этаже играло радио.

— Николай Васильевич! Это же — я — Лида. Почему вы молчите? Думаете — я вас не вижу? Вон, вон — в углу стоите, и брючки на вас такие же самые, чехословацкие, полшерсть. Пустите на минуточку.

В прихожей щелкнул выключатель. Светлая полоска погасла. Лида в нерешительности сделала круг перед дверью.

— Или вам обидно, что жениться на мне обещались? Так вы не думайте, я не для того. Мне расписываться не обязательно. Честное слово. Зачем вы свет потушили. Николай Васильевич? Всё равно всё слышно. Стоите там и вздыхаете. Как не стыдно! Вам наверно про меня чего-нибудь рассказали? Не слушайте никого. С Лобзиковым я уже четыре месяца ничего не имею. И с Полянским тоже. Как вы в отпуск ушли — только про вас думаю. Ни с кем ни разу даже не целовалась. Честное слово. Я, Николай Васильевич, если хотите, на всю жизнь вам верной останусь. Вечно вас буду любить. Как мужа. Обед для вас буду варить, если захотите.

Она прижималась к двери то глазами, то губами. В квартире Николая Васильевича господствовала тишина. Но оттуда — сквозь узкую щель — тянуло теплым, немного затхлым воздухом.

— Что же ты, милый, что же ты розочку не сорвал? — шепнула Лида, зардевшись. Потом понюхала в последний раз темную прорезь и пошла восвояси.

Лишь с ее уходом ты рискнул пошевелиться, размять затекшие члены. Ты был в жару и в поту. Какое мальчишество — выскакивать на звонок, под яркий электрический свет! Эта оплошность едва не стоила тебе головы. Хорошо по крайней мере, что ты вовремя спохватился и застыл на месте как мертвый, будто это и не ты вовсе и тебя нет.

А что оставалось делать? Впустить ее внутрь? Демонстрировать у всех на глазах свою личную жизнь? Да с кем? — с той самой женщиной, которая — теперь ты осознал это вполне — была приставлена к тебе по указке Граубе? Еще тогда, при гостях, она провоцировала тебя на любовь, и ты чуть было не... Бежать! Бежать пока не поздно! Пока она не вернулась, не ворвалась к тебе насильно под маркой

бывшей невесты, которая считает своим долгом следовать за тобою повсюду — только потому, что ты имел несчастье однажды ее ушипнуть на какие-нибудь три сантиметра выше общего уровня...

Ты выглянул в окошко, таясь за косяком и не зажигая огня. Путь был отрезан. Внизу дежурила Лида. Она не собиралась тебя покидать и расхаживала перед домом, как часовой.

Твои ноги в нагретых ботинках распухли и болели. Ныла рука, поврежденная мерзавцем Граубе при помощи надбровной дуги. Но хуже всего было не оставлявшее тебя ощущение — едкое, щекотливое чувство собственной кожи. Ты непрестанно морщился, мотал головою и растирал ожесточенно ладонями лоб и щеки.

...Это тяжелое зрелище мозолило мне глаза. Они тоже изрядно болели. Казалось, у меня между век вставлены спички-распорки, и оба глазных яблока расцарапаны до крови.

Чтобы дать себе роздых, а также по возможности облегчить его страдания, вызванные моей наблюдательностью, я старался глядеть в другую сторону и честно избирал для прогулок самые отдаленные улицы — Марьину рошу, Большую Оленью, что в районе Сокольников. Но это не помогало. Куда бы я ни двигался — пешком или на троллейбусе — передо мной маячили злые глаза и веснушчатые рыжеволосые пальцы...

Я хорошо понимал, что всё это может плохо кончиться. Когда стало невмоготу, я взял такси и выехал на место события.

Мой расчет состоял в том, чтобы увлечь Лиду с ее поста и тем самым разрядить обстановку. Я думал уменьшить число глаз, которые силой воображения он на себе сконцентрировал. Но был и второй момент: мне хотелось рассеяться. Я нуждался в третьем лице для забвения и защиты от моего преследователя.

Лида самоотверженно мерзла под его темными окнами. Хотя мы были знакомы, так сказать, заочно, ее слабые струны для меня не составляли секрета. Делом пяти минут было завязать разговор и пригласить ее погреться неподалеку в кафе. Я назвал себя первым попавшимся именем, кажется — Ипполитом. Она согласилась. Ей всё равно итти было некуда.

Пока мы ждали саживи и шашлыки по-карски, я высказал ей в утешение несколько комплиментов.

— Зачем вы бороду носите? — спросила она кокетливо.

— Для солидности? Но это вас старит. И вообще — рыжим борода не к лицу.

— Что вы говорите?! Какой же я рыжий?! — ужаснулся я ее способности перекрашивать вещи по своему вкусу.

— Нет, вы — рыжий! — упрямылась Лида. — С рыжеватым оттенком. Вы немного похожи на одного моего знакомого...

Я не считал нужным муссировать эту тему, опасную для всех нас, но сказал напрямик, что терпеть не могу рыжих. Рыжие вечно думают, что все на них смотрят, и потому они ужасно много мнят о себе и никому не верят. А на самом деле никто на рыжих не смотрит и смотреть не желает и нет никому до них — до рыжих — никакого дела.

— Зато они — ревнивые, — хвасталась Лида. — И всё тонко чувствуют и тонко понимают.

О, я прекрасно видел, куда летят ее мысли. Во всё это было впустую. К тому времени, как нам подали ужинать, ее рыжеволосый красавец успел далеко зайти в разрушительном изобретательстве. Лежа во мраке и уткнув лицо в подушку, он силен, что есть мочи, ни о чем не думать.

— Ди-ди-ди, ля-ля-ля. Ди-ди-ди, ля-ля-ля, — бормотал он сосредоточенно.

Ему казалось, что выключив мозг с помощью очевидной бессмыслицы, он избежит от соглядатаев, подсматривающих за ним изнутри. Мало ему было восстанавливать против себя целый свет. В самом себе он заприметил следы моего тайного розыска и решил сразиться со мною на путях своего сознания. «— Ди-ди-ди, ля-ля-ля» — попробуй пробейся сквозь эту стену. И не зацепишься. Что значит это тупое, бесталанное дидиликанье?..

Я сказал Лиде, разливая коньяк:

— Пейте, Лидочка. Пейте, Лидидилия. Не будем думать ни о каких рыжих, ни о каких рыжих. Не обращайтесь на рыжих внимания. Вам сразу станет легче. Кушайте сациви и шашлык. Шашлык! Шашлык! Сациви!

— Ди-ди-ди, ля-ля-ля! дядя! дядя! дядя! ди-ди-ди, ли-ди-ди...

— Сациви! Сациви! Кушайте, Лидочка, шашлык. Жирный, жирный, рыжий шашлык. Шаш? — или — шиш? -лык! лык! лык! Сациви!

Но мы не могли, сколько ни бились. отвлекься друг от друга, побороть притяжение, влекущее нас к катастрофе. К тому же и мне, и ему мешала Лида. Она сказала, разогревшись после третьей рюмки:

— Вы мне нравитесь, Ипполит. Вы очень, очень похо-

жи на одного моего знакомого. Он тоже меня угощал у одних моих знакомых. Только я вас прошу — сбейте бороду. Ну, пожалуйста, милый, для меня. Возьмите бритву и сбейте!

У меня дух захватило от ее предложения.

— Молчите! — крикнул я ей. — Ни слова больше! Ни одного упоминания ни о каких острых предметах! Слышите?!

И в то же мгновение я увидел, что он поднимает голову.

Ты поднял голову, как бы прислушиваясь к нашему разговору, и улыбнулся. Ты сказал себе мысленно: «— Надо побриться» и повторил вслух: — Надо побриться! Ля-ля-ля! Надо побриться!

И опять улыбнулся — второй раз за все это время.

Меня била дрожь. Я схватил Лиду за руку и мы, не допив коньяк, выбежали на улицу. Там — без предисловий — я объявил, что люблю ее, люблю безумно, страстно, и ни на кого не хочу смотреть кроме нее, и ни о ком не желаю думать, и потому она обязана мне сегодня принадлежать — немедленно, тут же, вот сейчас!

Ты встал и включил электричество. Твои глаза сощурились.

Лида сказала:

— Но здесь же холодно и ходят люди. Если вы так настаиваете, поедemте к вам домой, если вы не женаты.

Я тащил ее по улице, пока ты согрел воду и отыскивал свой помазок и эту самую свою бритву. У меня оставались считанные минуты. Не оставалось ничего другого, как зайти в чей-то подъезд. На самой верхней площадке было не так уж холодно и было мало вероятным, чтобы нас увидели.

А если б и увидели? Какое мне дело! Меня одолевали свои заботы. Это я, я сам не должен никого замечать! Я хотел, пока не поздно, выскочить из игры, которая могла плохо кончиться, а других средств спасения, кроме Лиды, не было под руками.

Я встал перед ней на колени. Мне хорошо запомнилось одно правило: «снизу человек доступнее, и стоящий перед ним на коленях может в любую минуту схватить его за ноги и опрокинуть на спину».

Так оно и вышло. Лида дружелюбно трепала мою склоненную голову, а я обхватил ее руками за тонкие ноги и прислонил к стене. Класть Лиду на кафель мне не хотелось: еще простудится.

Я не стыдился своих намерений, достаточно откровенных. В конце концов, не для своего удовольствия я старался. У меня не было иного выхода.

Конечно, было бы лучше, если бы ты оказался на моем месте. Чего тебе нехватало в жизни — так именно откровенности. Все-таки в объятиях женщины всякий мужчина, даже самый скрытный, заносчивый, вынужден волей-неволей держаться непринужденно. Быть может, и тебе, не отвергни ты Лиду, это бы пригодилось и — как знать? — будь ты немного доверчивей, может быть, и меня ты сумел бы лучше понять...

Но ты предпочел иной путь и теперь, зажав бритву в цепких веснушчатых лапах, водил ею вдоль щек, будто на самом деле собирался привести их в порядок. Зная твое притворство, я спешил. Скорее, скорее уйти, зарыться в свои занятия, чтобы ты тоже, наконец, перестал обращать на меня внимание, перестал бы бояться, таиться и лелеять в душе мстительные расчеты.

Лида шумно вздохнула и, закрыв глаза, гладила мои волосы:

— Коля! Коленька! Николай Васильевич! Рыженький ты мой! Ненаглядный! — твердила она на все лады.

Я не испытывал ревности. Но меня угнетали эти бесконечные напоминания, эта неуместная близость к тебе в ту минуту, когда я надеялся скрыться от тебя достаточно далеко. Я приближался к тебе с опасной быстротой и уже видел рядом с собою твои глаза, расширенные от бешенства. Назад! Назад! Поздно. Я вошел в твой мозг, в твое воспаленное сознание, и все твои последние тайны, которые я и знать не хотел, открылись передо мной.

Ты вскочил со стула. Все свидетели твоего злодеяния были в сборе. Ага! Попались! Ты замахнулся на меня, на Лиду, на весь мир своей заготовленной бритвой.

— Стой! Не смей! Что ты делаешь?

Я замжурился. И вмиг давно не испытанное спокойствие вернулось ко мне. Стало темно и тихо. Я перестал тебя видеть. Тебя больше не было.

6

Когда я открыл глаза, Лида помадила губы. Она встряхнулась, поправляя шубу и платье. От нее отскочила пуговица и покатила вниз, со ступеньки на ступеньку. Лида сошла по лестнице и подобрала пуговицу. Потом спустилась еще на один этаж.

— Куда же вы, Лида? — сказал я скорее из вежливости, чем по искреннему побуждению. Ответа не было: Лида спешила на свой пост, оставленный час назад. Взглянув в том направлении, я убедился, что она зря торопится. Сторожить ей было некого. Наш общий знакомый валялся под столом с намыленной щекой и перерезанной глоткой. Падая, он ухитрился разбить настольную лампу. Свет в его комнате не горел.

Я присел на ступеньку в ожидании, когда Лида исчезнет. Но окончательно скрыться из моих глаз ей никак не удавалось. Тогда я встал и, покинув гостеприимный подъезд, направился по городу — в свой обычный обход.

Все было по-старому. Шел снег и было такое же самое состояние суток. Два инженера — его бывшие сослуживцы, Лобзиков и Полянский — играли на рояле Шопена. Четыреста женщин по-прежнему рожали четыреста младенцев в минуту. Вера Ивановна прикладывала примочку к посиневшему глазу Генриха Ивановича. Шатенка надевала штаны. Брюнетка, склонясь над тазом, готовилась к встрече с Николаем Васильевичем, который, как бывало, бежал под хмельком по морозцу. Труп Николая Васильевича лежал в запертой комнате. Лида, как часовой, ходила под его окнами.

Я видел это и неотвязно думал о нем. Мне было много грустно.

Ты ушел, а я остался. Я не жалею о твоей смерти. Мне жаль, что я не могу тебя забыть.

1959 г.

## КВАРТИРАНТЫ

1

Эх, Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич! Да разве вы сравниваетесь с Николаем Николаевичем? Смешно даже. У вас и виду нет никакого, и бицепсы на вас обвисли все равно что, простите за сравнение, сосцы на какой-нибудь исхудалой собачке. И коньяк вы хлещете, начиная с утра — откуда только деньги берутся? А Коля, Николай Николаевич, был человек моложавый, инженер — конструктор электрических двигателей, двадцать девять лет — самый сок. И тот не осилил. Вызывает меня как-то на кухню. «Что ж это, — говорит, — что ж это, — говорит, — Никодим Петрович, происходит?» А сам белый-белый. Как потолок.

Куда вам до него! Певун был! Физкультурник! Бывало, проснется рано утром, всю гимнастику под звуки радио сделает, зубы щеткой почистит и начинает:

Все выше, и выше, и выше  
Стремим мы полет наших птиц,  
И в каждом пропеллере дышит  
Спокойствие наших границ.

Приятно слушать. Хотя он и тенор, а я больше басы люблю. Поверьте старику — уезжайте прочь отсюда. Покуда целы. Чемоданчик в руки и с Богом. Хотите для вас — по знакомству — записочку сочиню? В горжилотдел, к самому Шестопалову. Неужто не слышали? Шестопалов. Квартирные вопросы решает. Я под его началом тринадцать лет прослужил. Студенческим общежитием и двумя домами заведывал. Комендант, управдом — как хотите зовите. До са-

мой пенсии. На Ордынке. В пять этажей и в шесть. Он в пять минут любую жилплощадь разыщет. Ну что вы, что вы!.. По моему-то ходатайству!..

Обживетесь на новом месте. Библиотеку вашу временно здесь оставим. Я постерегу. Почитаю с вашего разрешения. У вас нет ли случайно: «Юный бур из Трансвааля»? Еще до войны читывал. Автора вот не запомнил. Иностранец какой-то, француз.

Жаль-жаль. Ночи-то длинные, а ноги-то ноют. Суставной ревматизмус. Застарелая, коренная болезнь. Что? Наливайте, наливайте: не повредит.

За ваше здоровье!

И-да... Коньячок у вас, действительно, самый отборный, по рецепту. В пищеводе ощущение ласки. Сопьюсь я с вами. Нет-нет, не беспокойтесь, закусывать я не люблю. Весь привкус теряется. В самом деле, Сергей Сергеевич, переезжайте на другую квартиру. Здесь, говоря по секрету... Взвзоете, когда узнаете, да поздно будет. Ну, что вы заладили: не поеду, да не поеду. Леность это одна с вашей стороны и ничего больше. А там, глядишь, и я за вами следом. Вместе поселимся. Не хотите с Шестопаловым связываться — обменять можно. Давайте дадим объявление. Моя комната плюс ваша — тридцать один метр. Вот вам и пожалуйста — изолированная квартира. А?

Я вам, как писателю, условия жизни создам. Тишина чтобы, порядок. Мне тоже нужен покой. Может, вы еще жениться сумеете, Внучат разведем, котят. Я при них бы сидел. Вместо дедушки. Про коньяки и думать забудем. Разве что по большим праздникам: новый год, первое мая. Хозяйство наладим. Дер тыш, дас шранк, валенки мне новые купим. Эх, и жизнь пойдет! Давайте выпьем, что ли! За ваше здоровье, Сергей Сергеевич.

Я ведь, говоря откровенно, почему с ним подружился — с Колей то-есть? Хороший он человек, хозяйственный, домовитый. Как придет с работы — за дело. Этажерку лобзиком выпилил, радиоприемник из чепухи собрал. Своими руками. И Ниночка его тоже мне сначала понравилась. Хлопотливая такая, как птичка. Всё в дом, в дом тянет. Полгода не прошло — верите ли? — они уже гардероб новый купили. С зеркалом во всю дверцу. Занавеси из тюля повесили. А всё по четвертной, по тридцать рублей в поллучку, по копеечке можно сказать домашний очаг создали. И всё прахом пошло. Эх, Коля! Коля! Где вы теперь, кто вам целует пальцы?.. Да-а-а! В доме душевнобольных. Выражаясь по старинному — в желтом доме-с. А разве это

дом? Так, одна видимость. И дома никакого нет — общезнание для безумцев и ничего более.

Что? С чего началось? С пустяка всё началось. Кушает он однажды вечером гороховый суп и вдруг вылавливает из тарелки — представляете — женский волос. Обыкновенный женский пучок и больше ничего. Говоря по-деревенски — очёски. Он, конечно, оборачивается к своей Ниночке и спрашивает ее довольно спокойно, как это понять. Та вспыхнула вся и говорит, тоже довольно спокойно:

— Это, — говорит, — Николаша, Кроваткина свои лохмы к нам в кастрюлю вместо мяса подкладывает.

А волосы, между прочим, седые. Седые...

Тс-с-с! Вот я и спрашиваю: Сергей Сергеевич, нет ли у вас такой интересной книги — Фенимор Купер «Последний из могикиан»? Да! «Последний из могикиан»! Про индейцев Южной Америки! Так, так, так! Значит нет! Значит нет! Погода какая дождливая! Погода — говорю — дождливая!..

Ушла... Это она и есть, она самая — Кроваткина. Сущая ведьма. Ухо к дверям приложит и контролирует, о чем мы с вами беседуем. Уж я ее чувствую, знаю. Раз говорю — значит знаю! У меня на это дело свое осязание есть. Сами с усами. Спиною их шашни угадываю. За десять метров.

Что вы! Какие тут фокусы! Не верите — могу доказать. Вот сейчас к вам спиной повернусь и ничего видеть не буду, а всё буду угадывать. Любое телодвижение.

О-хо-хо! ноги-то, как чужие. Ну! Начинайте.

Тэкс-тэкс. В этот самый моментик вы в носу ковыряете. Мизинцем. Теперь — перестали. За левое ухо схватились. Нижнюю губу оттопыриваете. Что, угадал? Хе-хе. А вы затейник! Какую пантомиму позади меня разыграл! Думает — не узнаю. Язык высунул, лоб сморщил... А глазки-то у вас, Сергей Сергеевич, совсем косые. Захмелели вы. Сразило вас это зелье.

Ну, на сегодня хватит. Я и не так еще умею. А теперь — по последней — и спать. Поздно уже. Что соседи подумают?

Нет, нет. И не просите. В другой раз доскажу. Перебила меня эта Кроваткина. Все настроение испортилось. Давайте я лучше на прощание что-нибудь совершу. Вот сейчас — хотите? — не сходя с места, исчезну. Возьму и улечусь. Раз, два, три! Вот я был и вот! — меня! — нетт!

Покойной ночи, Сергей Сергеевич!

...Таким образом в скором времени одни русалки остались. Да и те... Сами знаете: индустриализация природных богатств. Дорогу технике! Ручьи, реки, озера химическими веществами пропахли. Метилгидрат, толуол. Рыба — та попросту дохнет и вверх брюхом плывет. А эти, бывало, вынырнут, отфыркаются кое-как, а из глаз — не поверите! — слезы от горя и разочарования. Сам видел. По всему роскошному бюсту — стригущий лишай, экзема и даже, простите за нескромность, венерические рецидивы.

Куда спрячешься?

Не долго думая — туда же, вслед за лешаками, за ведьмами — в город, в столицу. По каналу Москва-Волга, через эти самые шлюзы — в сеть водоснабжения, где почище да посытнее. Прощай, родимый край, первобытная обстановка!

Сколько их тут погибло! Видимо-невидимо. Конечно, не на совсем. Бессмертные создания все-таки. Ничего не попишешь. Но которые из них помястее — в водопроводных трубах застряли. Да вы сами, вероятно, слышали. На кухне кран отвернете — оттуда вдруг рыданья несутся, бултыханья разные, чертыханья. Думаете — чьи это штучки? — Их голоса — русалок. Застрянет в умывальнике и ну капризничать, ну чихать!

Между прочим, в нашей квартире одна бывшая русалка проживает вполне легко и свободно. По паспорту — Софья Францевна Винтер. Знаете ее, конечно. В бумазейном халатике бегаёт и водные процедуры принимает с утра до вечера. То в ванной комнате плещется по три часа кряду (другим жильцам руки помыть негде), то в тазик частично усядется и стихи про Лорелею поет. На немецком языке:

Их вайс ниht вас зольэс бедойтен  
Дас их зо траурих бин...

Генрих Гейне сочинил. Говорю ей вчера: — Софа! Ты бы хоть нового жильца постеснялась. Писатель как-никак. А ты в одном халатике по коридору бегаешь, без пуговиц, без тесемок, и при каждом своем движении на полметра распахиваешься.

А она — бесстыжая девка — только зубы скалит. «Ваш писатель, — говорит, — мне «Белую сирень» подарил. Духи такие. У меня с ним, дедушка, понимание с первого взгляда».

Берегитесь, Сергей Сергеевич. Упаси вас Бог за нею ухаживать. Защекочет до смерти. А насчет чего посушестввеннее — я так скажу: рыба кровь у нее и все прочее — рыба. Одна только наружность дамская, для соблазна...

Вот вы опять смеетесь и ничему не верите. А хотя вы писатель — наблюдательности у вас никакой. Ну, что вы можете сказать, например, про Анчуткера? Ваш сосед. Анчуткер. Вот за этой стенкой. Ничего особенного. Гражданин как гражданин. Разве что еврей, Моисей Иехелевич. Подумаешь! Карл Маркс тоже, небось, из евреев произошел.

А если присмотреться, да повнимательней?.. Шевелюру он какую носит? Вы встречали когда-нибудь в жизни подобную шерсть на мужчине? А цвет лица? Где вы у человека найдете до такой степени синюю кожу? И взгляд у него невеселый, и штiblеты 47-го размера, к тому же всегда перепутаны: правая принадлежность на левой, а левая — на правой. Так и ходит, медведь неучливый, и дома и в министерстве.

Опять же, обратите внимание, какую он литературу почитывает. «Лес шумит» Короленко. Новый роман Леонида Леонова «Русский лес». Я не спорю — роман замечательный. Но зачем же, спрошу я вас, непременно на эту тему? И почему он, проклятый Анчуткер, по лесному ведомству служит? Березы да елки логарифмической линейкой считает, на кубометры перекладывает... И не Анчуткер он вовсе, а по-правильному, по научному — Анчутка. Теперь смекаете? То-то!

Нет, Сергей Сергеевич, не найти вам среди наших квартирантов ни одного живого лица. Хоть и родня они мне. Так сказать, из одной деревни. Да что толку! Мне моя репутация дороже стоит. Это невежды говорят, малограмотные, некультурные бабы — домовой, дескать, заодно с лешим. Ошибаетесь! Совсем другая профессия. Нельзя в этом вопросе не видеть принципиальных различий. Домовой — он к дому привык, к человеческому запаху, к теплоте. Испокон века. Ему с чертями да с ведьмами не по пути. Может, вы думаете — общая природа. Не скажите! Мало ли что природа! Человек, например, тоже от обезьяны произошел. Однако впоследствии выделился в самостоятельную разновидность. С обезьянами дело имеет лишь в Африке, да в зоопарке. Какое же мне — мне! — пожилосту, можно сказать, человеку в коммунальных условиях жить?!

Как въехали они в нашу квартиру — Николай Николаевич с Ниночкой, я им сразу сказал: — Коля! — говорю,

— Ниночка! держите ухо востро. Не поддавайтесь на провокацию. Живите как в отдалении. А я возле вас погреюсь на старости лет.

— Нет! — отвечает Ниночка — С волками жить — по-волчьи выть. Не забуду я этой Кроваткиной историю с гороховым супом. Она у нас мясо ворует, а я ее волосы жуй? К тому же — грязные и седые. От них заразиться можно.

И велит своему Николаше приладить ко всем кастрюлям всякие стальные замки. Чтобы пищу, значит, на ключ запирает, пока варится без надзора на плите общего пользования. Бывало, прокрадется на цыпочках, отомкнет поскорее кастрюлю, соли-масла добавит и опять на запор.

Только это не помогло. Превратности продолжают. Курицу, скажем, на огонь поставит и замочки повесит. Отпирает — дохлая кошка сварена в курином бульоне. Даже не ободранная, прямо в шкуре, с хвостом.

Ниночка — в амбицию. Ее тем временем другая соседка — Авдотья Васюткина — на свою сторону переманила. Образовался альянс. У Авдотьи с Кроваткиной личные счеты: Анчуткера никак не поделят. От Анчуткера у обеих детишки. Лешанята, значит. Вот и сражаются, врагини, за свою ведьмачью любовь.

Представляете картину? Кухня. Дым коромыслом. В дыму эти ведьмы раскачиваются, ухватив друг друга за космы. В лицо друг другу плюют на близком расстоянии. Нехорошие слова произносят счень отчетливо:

— Ведьма! Потаскуха!

— Сама ты ведьма! Куда сегодня ночью верхом на унигазе каталась?

Под ногами у них ребятишки синепузые вертятся. Норовят укусить за икры противоположную сторону. Маленькие еще, а зубастенские, с коготками.

И тут же, представляете, Ниночка. Волосики разметались. Глазки горят как лампочки от карманного фонаря. В руках — скалка, и сквозь разорванную рубашку ребрышки ее цыплячьи так ходуном и ходят, так и ходят.

Увидал я эту картину и впервые заплакал. Мне, старику, совладать ли с тремя рассвирепевшими бабами? Бегаю вокруг, умоляю. — Брысь, — кричу, — по своим углам! А то я милицию вызову. — Они и слушать не желают. Стон стоит по всей жилплощади, топот, гром сковородный. Да еще в ванной комнате русалка Софа заливается истерическим смехом...

Вечером говорю Николаю: — Так и так. Уйми ты свою

Ниночку. Добром это не кончится. Вот увидишь. Сними ты с нее по-домашнему трикотажные панталоны, да всыпь легонько веником, чтобы не совалась в чужую баталию.

Как можно! Обиделся даже. «Я, — говорит, — до Верховного Совета дойду, а дела этого так не оставлю. Кроваткину судить надо. Она — фашистка. Она мою жену оскорбляет и словом и действием. А Ниночка за всю свою молодую жизнь пальцем никого не тронула...»

Любил ее Коля, простая душа, любил без памяти. Вот и пошли у них...

Сергей Сергеевич, сидите тихо. Не шевелитесь. Видите, под кроватью крыса бегаёт? Совлеките незаметно ботинок и бейте. Не промахнитесь только. А то уйдет. Ну! Вот сейчас снова высунется. Ты и кидай. В голову. Наповал. Р-раз!..

Эх, промазал! Бей, Сережа! Хватай! Бутылкой ее! Бутылкой!..

Что ж ты, неловкий ты человек... Говорил тебе — бутылкой Ух! Даже ноги дрожат. Нервы вконец расшатались...

А знаете, Сергей Сергеевич, — кто это был? Это ведь Ниночка к нам приходила... Скучает она по своему Николаю. Вот и ходит на старое место — наша Ниночка...

3

Не пугайтесь — я без стука. Дело срочное. Беда, Сергей Сергеевич! Беда! Эта Кроваткина все пронюхала и Анчуткеру рассказала. Что теперь будет с нами?! Что будет!

Послушайте, в вашей комнате мне находиться нельзя. Тем более — в естественном виде. Квартиранты могут заметить, Я и так уже — через щель явился. Под дверь пролез. В моем-то возрасте...

Одну минуту! Сейчас я немного замаскируюсь, тогда поговорим.

Что у вас тут имеется из подходящих предметов?.. Ага! Давайте-ка, я буду — стаканом. А вы садитесь за столик — будто бы выпиваете. Если кто заглянет — разговаривайте сами с собой. Пускай они думают, что вы — пьяный. Так безопаснее.

Ну, идите сюда: я уже на столе. Видите — у вас было три стакана, а стало четыре. Да нет же, не этот! Какой вы ненаблюдательный, право. Вот я, вот! Подле тарелки.

Ой! Не касайтесь меня руками! Еще уроните на пол и разобьете. У меня и без этого кости ноют.

Сергей Сергеевич, соберите внимание и выслушайте

меня со всей серьезностью. Положение наше — хуже некуда. Мы — обнаружены. Ведется следствие. Анчуткер со вчерашнего дня здороваться со мной перестал. Я знаю — меня судить хотят. За разглашение ихних секретов. Завтра в двенадцать ночи на кухне соберется Совет. Всё бы ничего, да Шестопапов мной недоволен. Отдал распоряжение: «Мы, говорит, ему доверяли, а у него с чуждыми элементами периодические знакомства. Инцидент с молодоженами мы, говорит, ему простили, так он теперь снова дружбу налаживает с кем не положено. А друг его новый, писатель — все с его слов на бумагу записывает. Могут выйти неприятности. Наказать болтуна, чтоб другим не повадно было. Писателем же займемся особо. Благо он алкоголик, и ему настоящие черти скоро начнут мерещиться».

Понимаете, Сергей Сергеевич, что это означает?! Разлучат они нас. Последнего человека отымут. Дома-кровать меня лишат. Под пол отправят. В сырость, в холод, к микроорганизмам. Или по канализационной системе вниз головой спустят. И буду я вынужден там циркулировать до скончания света. Наподобие Вечного Жида по имени Агасфер. Вы одноименный роман Эжена Сю читали? Вот — вот. Тем же способом. Из клозета — в клозет.

И вам не сдобровать. Окружат вас мерзкими харями, кикиморами, упырями. Страшно станет. Запьете пуще прежнего. И чем больше пить будете, тем страшнее будет. Пока не свихнетесь с ума, как бедный Николай Николаевич!

Бежать нам надо. Всё предусмотрено. Завтра в половине двенадцатого я за вами явлюсь. Перед самым началом праздника, перед Большим Кухонным Советом. Будьте наготове. Они гостей ждать станут, в туалеты наряжаться. Закуску готовить примутся. Из падали, из тухлых яиц. Глядишь, в суматохе контроль ослабнет. В этот момент вы меня сажаете в карман (уж я сам постараюсь как-нибудь там уместиться), надеваете сверху пальто, чтобы ветром меня не продуло, и быстрым шагом выходите на улицу. Будто выпили немного и решили прогуляться, подышать свежим воздухом.

Первое время в гостинице перебежусь. А после — дом, квартиру сладим. Без жильцов, без соседей. Сами себе хозяева. «Ни бог, ни царь и ни герой!»

На всякий случай, для профилактики, икону можно повесить. Пусть это вас не смущает: я привык, в деревне воспитывался. Предрассудки эти в народной среде очень распространены.

Не хотите икону, убеждения не позволяют? — обойдемся простой репродукцией. Рафаэля какого-нибудь с младенцем из «Всеобщей истории» вырежем и на видное место приклеим. От нечистой силы, от дурного глаза тоже хорошо помогает. И вполне прилично, прогрессивно. Искусство все-таки. Не придерешься.

Главное, Сергей Сергеевич, вместе надо держаться. Мне без вашей, без человеческой помощи веками отсюда не выбраться. По внутреннему помещению расхаживаю сколько угодно. Хочу — по стенам, хочу — по потолку. Но за порог ни ногой. Физиология не позволяет.

Да и вы — не буду скромничать — без меня пропадете. А со мною — Бог даст — всемирную известность получите. Чарльз Диккенс. Майн Рид. Ведь я знаю — всё знаю, хитрец вы этакий. Я — в дверь, вы — за перо. Даже когда не совсем в себе и языком плохо владеете...

Так это что, беседы наши! Мизерная частица. У меня этих басен целый декамерон. И всё на личном опыте. В пяти томах можно издать. С иллюстрациями. Мы с вами, Сергей Сергеевич, братьев Гримм за пояс заткнем.

Ой-ой-ой! Что же вы делаете? Зачем вы коняк в меня наливаете? Я захлебнусь, захлебнусь! Ополосните немедленно...

И напугали же вы меня, Сергей Сергеевич. Учтите — завтра чтобы ни-ни! Ни одной капельки! Будьте бдительны, осторожны. И в поступках и в выражениях. От резких фраз с упоминаниями, пожалуйста, воздержитесь. А то знаете, как бывает. Видали вчера Ниночку? Ну да, Ниночку в крысиной форме. Теперь уж так и останется... Не возвратить.

Терпел-терпел Коля, да и скажи однажды: — Ну тебя, Ниночка, к лешему. Надоели мне эти скандалы.

И как только он произнес эти роковые слова, входит к ним в комнату Анчуткер. Вроде бы по делу, за папироской. И смотрит пристально на Ниночку, а Ниночка смотрит на Анчуткера и очень они друг другу в ту минуту понравились.

Ниночка к тому времени была уже не такой. Волосики поредели, глазки впали, а животик — наоборот — выпучился. От внутренней злобы. И зад у нее тоже, знаете, заметно заматерел. Словом, по вкусу пришлась, и начались промежуточные свидания, щипки, цап-царапки нежные и все такое. Совсем ведьмой сделалась. С Кроваткиной помирились. Даже стала учиться по ночам на унитазах летать. Как ракетный двигатель. С помощью кишечного газа.

А когда Николая Николаевича в сумасшедший приют забрали, бросил ее сожитель. В беременном положении бросил. И чтоб не платить алименты и Авдотью ревность унять, в бессловесную тварь ее обратили соответствующего содержания. Она потом в норе крысятами разродилась. Семь штук принесла.

Может, и жалко ее. Но я лично вижу в этом факте настоящую аллегория. Подтачивала устой морали — туда и дорога! — и даже очень жалко, что вы ей не попали ботинком по голове. Была бы прямая польза и справедливое возмездие. За Николашу. Как в «Анне Карениной». Хороший был человек.

Заболтался я с вами. Правильно, видать, Шестопапов болтуном меня обозвал. Да ведь легко сказать! От людского жилья отрезан. Слово вымолвить не с кем. Молчишь, молчишь целыми днями. И целыми ночами. Валенками по паркету шаркаешь.

Ладно уж. Только бы уйти отсюда. Я про самого Шестопапова такие истории знаю. Со смеху умрете.

Значит — решено! До завтра — значит. Слово даете? Ну-ну.

Я сейчас удалюсь, как пришел — незаметно. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Никто нас не видал, никто не слышал. Шито-крыто.

Эй!

Сергей Сергеевич!

Пора.

Самое время!

Где вы? Куда подевались?

Ушел? Без меня ушел! Старика на растерзание бросил. Бездомного старика...

Что это? Что это? На полу валяется? Неужто помер? Сергей Сергеевич, роденький.. Сердце бьется. Глазки моргают. Проснитесь! Бежимте отсюда. Сроки приспели. Сейчас звонили по телефону: Шестопапова ожидают на праздник. С минуты на минуту. Им теперь не до нас. Суетня, подготовка.

Что ж это вы, Сергей Сергеевич?.. А я-то думал... Как вам не стыдно! Еще слово давали... Нашли время... Не утерпели...

Как же вы в таком виде по улице пойдете? Вас в милицию заберут.

Всё одно — вставайте! У нас в распоряжении четыре минуты. Поднимайтесь, вам говорят!

То есть как это не в силах? Ноги отнялись? Не дурите!

Голубчик, давайте вместе попробуем. Приложите старания. Хватайтесь руками за шею. Ну! Еще раз. И тяжел же ты, братец. Стой-стой, не вались!..

Ш-ш-ш-ш! С ума ты сошел! Грохот по всей квартире. Догадаются — придут за нами. А я куда денусь? Я тебя спрашиваю или нет — мне что делать прикажешь?

Ну, чего ты бормочешь? Плевал я на твои извинения. Слышишь, слышишь?.. Кроваткина ухо к дверям прикладывает. Пропали мы. Сейчас Анчуткера позовет. Шестопалова...

Сергей Сергеевич! Сыночек! Выручай!.. Встань хотя бы на колени. Давай я тебе помогу. Вот так. Вот так. Теперь молись. Я сзади придержу. За плечи. Молись! Молись — тебе говорят, пьяная рожа!

Как это — забыл? Откуда я знаю? Это ты должен знать! Ты — человек, а не я. Тебе и карты в руки. А мне нельзя, не полагается.

Что же ты, Сергей Сергеевич, — с чертями живешь, о чертях рассказы записываешь, а молиться не научился?!

Ладно. Пускай лежа. Повернись на спину. Пойми же, наконец, — это последнее средство... Стал бы я в другое время?! Сложи пальцы. Сначала ко лбу. Теперь — сюда... Ты зачем притворяешься? Врешь! Храпи — не храпи — я не поверю. Все ты прекрасно сознаешь, все понимаешь... Дьявол ты что ли на самом деле или кто?..

А это еще кто?! А-а! Ниночка? Здравствуй, Ниночка... Не бойся, не бойся. Не трону. Мне теперь все равно...

Вот! Полюбуйся на красавца. Твой супруг будущий. Третий по счету. В норе вместе поселитесь... Понюхай ему глаза, понюхай. Лизни. Он позволяет... Ему сейчас не до тебя. Мутит его, комната кружится. И чортики уже в глазах прыгают. И крысы.

Ну, вот и дождались. Идут всей гурьбой. Топочут по коридору. Сейчас ворвутся. Это они за мной пришли. И за вами тоже, Сергей Сергеевич. И за вами тоже. И за вами тоже.

1959 г.

## ГОЛОЛЕДИЦА

ОТ АВТОРА

Я пишу эту повесть, как потерпевший кораблекрушение сообщает о своей беде. Сидя на уединенном обломке или на безжизненном острове, он кидает в бурное море бутылку с письмом — в надежде, что волны и ветер донесут ее до людей, и они прочтут и узнают печальную правду, в то время как бедного автора давно уже нет на свете.

Доплывет ли бутылка? — вот вопрос? Вытащит ли ее за горлышко цепкая рука моряка, и прольет ли моряк на палубу слезы сочувствия и сожаления? Или морская соль постепенно пропитает сургуч и разъест бумагу, и безвестная бутылка, наполненная терпкой влагой или разбившаяся о рифы, останется лежать без движения на дне пучины?

Моя задача еще сложнее. Не обладая ни научной, ни литературной опытностью, я хочу, чтобы труд мой был нанечатан и получил бы признание. Лишь таким окольным путем могу я рассчитывать дойти до тебя, Василий. О Василий! Поверь, мне не нужны деньги и почести, мне нужно только твое участие. Я не ишу других читателей кроме тебя, хотя через многие руки, быть может, проплывет моя повесть, прежде чем случайно попадетсЯ тебе на глаза.

Что же делать! Житейское море огромно. а бутылка такая ничтожная, и ей надо покрыть тысячи миль, чтобы найти адресат.

Прости, Василий! У меня нет твоего адреса. Я не знаю даже твоей фамилии, не успел узнать, а когда спохватился — было поздно. Но я знаю: ты живешь, затерянный — подобно мне — в волнах времени и пространства, и я надеюсь — вдруг ты зайдешь когда-нибудь в букинистический магазин и вдруг увидишь на прилавке мою ветхую книгу.

Вспомнишь ли ты меня? Дрогнет ли твое сердце и

оживут ли в нем туманные образы прошлого? Протянешь ли ты мне руку дружбы и помощи?

Ах, Василий, я прошу тебя об одном: разыщи Наташу. Понимаешь — она должна жить где-то рядом с тобой. Не удивляйся, ее тоже зовут Наташа, хотя это совсем не та, а другая Наташа, не похожая на ту. Но мне кажется — имена совпадают. Представь себе, она — тоже Наташа, Наташа! И если ты не узнаешь ее по моим описаниям, я все-таки надеюсь — сердце тебе подскажет, кого надо...

Так вот, я прошу тебя, Василий, найди Наташу и женись на ней поскорее, пока ты жив, пока не поздно, непременно женись, хотя быть может — она старше тебя и у нее дети, а ты, кажется, тоже человек семейный... Все равно, брось жену и живи с Наташей, как я тебе говорю. Понимаешь, это единственный случай встретиться с нею, и если мы его упустим — мы опять потеряем друг друга из виду...

Не хмурься, Василий. Я сейчас всё объясню. Я изложу по порядку, как было дело, и постараюсь выполнить это хорошо и художественно. Пусть меня напечатают большим тиражом: так мне будет легче на тебя наткнуться. Ничего, не беспокойся. Я читал много повестей и романов и представляю, как это делается. А главное — у меня есть время. В конце концов, за оставшуюся долгую жизнь почему бы мне не стать известным писателем?

А ты, Василий, следя за ходом рассказа, прислушайся к себе повнимательней. Быть может, что-то в тебе все-таки шевельнется и ты окажешь помощь страдальцу, потерпевшему крушение... И сидя со своей Наташей в какой-нибудь красивой беседке, ты обнимешь ее меланхолично за талию и скажешь словами поэта:

Не пой, красавица, при мне  
Ты песен Грузии печальной:  
Напоминают мне оне  
Другую жизнь и берег дальный.

Увы, напоминают мне  
Твои жестокие напевы  
И степь, и ночь, и при луне  
Черты далекой, бедной девы!..

Я призрак милый, роковой,  
Тебя увидев, забываю;  
Но ты поешь — и предо мной  
Его я вновь воображаю...

Кстати, это сочинил тот самый Пушкин, которого ты хорошо знаешь. Но ты ошибся, когда сказал, что Пушкина расстреляли. Его убили на дуэли, из пистолета. Уж это я твердо знаю, поверь мне.

И еще: стоит ли давать Наташе мою грустную повесть? Читай ей лучше Пушкина и люби ее, как я любил. И будьте счастливы.

Это всё, о чем я вас прошу.

1

Мы сидели с Наташей на Цветном бульваре. Мы были одни, была гололедица, и прохожие в этот вечер не решались выходить на бульвар. Мы с Наташей составляли исключение, потому что любили друг друга и не боялись в тот вечер упасть и ушибиться.

— Безобразие, — сказал я. — С ума можно сойти. Если погода не переменится и к завтраму не выпадет снег, я отказываюсь в этом году встречать Новый год. Ты встречала что-нибудь подобное в конце декабря? И я тоже не помню. Это всё атомные испытания, гонка вооружений. Летом — холод, зимой — дождь. Достукались.

И я хотел развить мысль насчет радиации воздуха, по вине которой того и гляди начнется ледниковый период. Мы отпустим косматую шерсть и займемся разведением мамонтов. Наташа перебила меня. Она вдруг стала уверять, что в раннем детстве однажды видела снегопад в разгаре июня. Птицы устроили дикий шум, насекомые скрылись, а бабушка всем говорила, что это дурная примета. Это было, уверяла Наташа, под Саратовым, летом, на даче, в 1928 году.

Ее рассказ показался мне в высшей степени фантастическим. Ничего этого не могло быть по той простой причине, что Наташе тогда было два года и запомнить свой снегопад она бы не сумела. Я по себе хорошо знал, что такого не бывает. Объем нашей памяти имеет границы. А тут еще насекомые, бабочки, бабушка...

— Не морочь мне голову, — сказал я сердито. — Или ты раньше меня обманывала и скрывала свой возраст. Ты наверное родилась не в 26-ом, а в 23-ем году.

Это я сказал, конечно, чтобы ее подразнить. Мне было чуточку обидно, потому что я думал, что знаю ее насквозь. Мы были достаточно знакомы и к тому времени успели рассказать друг другу всё, что помнили о себе. Не исключая таких моментов, про которые обычно избегаешь

вспоминать и рассказывать. Хотя мы не были женаты и жили пока порознь, прошел целый год, как я заставил ее окончательно уйти от Бориса и встречался с нею каждый день или через день. И вдруг выясняется, что Наташина жизнь полнее событиями, чем я полагал. Например, Наташа, еще не умея ходить, играла спичками и подожгла себе волосы, и они горели желтым пламенем, и обо всем этом она хорошо помнит.

Я был старше ее, умнее, начитанней, и я не привык уступать. Поэтому я тогда же вступил с ней в спор по части смутных воспоминаний и делал это тем настойчивее, чем меньше у меня было шансов на выигрыш.

— А я вот помню... — не унималась Наташа.

— А я вот тоже помню... — отвечал я.

И я ворошил свои младенческие впечатления в надежде там отыскать что-то давно забытое. Наверное это и послужило психологической предпосылкой физиологических изменений, которые произошли со мною в тот вечер и изменили в короткий срок всю нашу жизнь.

Сейчас, по прошествии многих лет, я затрудняюсь сказать в точности, как было дело. Может быть, я заранее был к этому подготовлен всем ходом своего развития и мне, как говорится, на роду было написано испытать всё то, что я впоследствии испытал. Не знаю, не знаю... Во всяком случае в ту минуту я ни о чем таком не думал, а просто колотился в барьеры памяти, пытаюсь раздвинуть их и вспомнить, что было раньше. И вот какая-то роковая преграда неожиданно рухнула, и я провалился в пустоту, почти физически пережив неприятное чувство падения. Я падал, и падал, и падал, ничего не понимая, и когда пришел в себя, вся окружающая обстановка была не такой и сам я был не совсем таким.

Я находился в длинном ущелье, стиснутом рядами голых гор и гладких холмов. Дно его покрывала корка льда. По краю льда, перед отвесными скалами, росли деревья, тоже голые. Их было мало, но близость лесного массива давала о себе знать глухим ветренным шумом. Пахло падалью. Во множестве светились гнилушки. Впрочем, то были не гнилушки, а скорее всего это были клочья Луны, растерзанной волками и ожидающей срока, когда ее кости, хрящи, мослы опять обраснут белым светящимся мясом и она поднимется в небо под завистливый вой волков...

Но понять и обдумать всё это я не успел: на меня бежал с раскинутой пастью зверь. Он быстро-быстро перебирал невидимыми ногами, и я мог догадаться, что ног у

него не четыре и даже не пять, а по крайней мере столько же, сколько у меня пальцев на ногах и на руках вместе взятых. Вот сколько. Он был пониже мамонта, но зато упитаннее и здоровее самого большого медведя и, когда он приблизился вплотную, я заметил, что брюхо он имеет прозрачное, как светлый рыбий пузырь, и там ужасно бультаются проглоченные живьем человечки. Должно быть, он был так прожорлив, что глотал их не жуя, и жертвы, попавшие к нему в желудок, все еще вертелись и подскакивали.

Конечно, те ощущения я передаю приблизительно, своими словами. Тогда у меня в голове и слов никаких не было, а были, можно сказать, одни условные рефлексы и разные, как их теперь называют, религиозные пережитки, и я, терзаясь страхом, бормотал заклинания, характер которых я сейчас не решусь воспроизвести на бумаге. Но в то мгновение, помнится, эти бессмысленные заклинания возымели определенное действие, и смягчившееся чудовище удалилось вдоль скал, не тронув меня, только выбросило угрожающе вверх сноп электрических искр. И наверное потому, что эти искры в моем затемненном мозгу все-таки отозвались «электрическими», я понял тотчас, что это мимо меня проехал безвредный троллейбус, и утраченное состояние настоящей минуты вновь вернулось ко мне.

Оказалось, что я продолжаю мирно сидеть на бульварной лавочке, а рядом преспокойно сидит Наташа, которая даже ничего не заметила, а большой вечерний неутраченный город гудел и стонал вокруг нас, точно лес в непогоду.

— Если погода не переменится, — сказал я в безотчетной тоске, — и завтра не выпадет снег, я отказываюсь в этом году встречать Новый год.

Но копаться в своем мозгу я больше не рисковал. Этот случай с провалом памяти на меня ужасно подействовал. Стараясь не волноваться и понапрасну не ломать головы, я молча вдыхал родную вонючую мглу, пропитанную парами бензина и гнилым моросящим светом уличных фонарей, который весьма отдаленно напоминал свет луны, и безусловно имел вполне реальное, электрическое происхождение. С некоторой опаской посматривал я на дома, на фонари и деревья, и на троллейбусы, то и дело шнырявшие вдоль домов и вдоль деревьев, и всё это было таким настоящим, таким похожим на себя и не похожим ни на что больше. И еще я заметил, что по ледяной вы-

гнутой корке Цветного бульвара, покачиваясь как балерина, идет полная женщина.

Она проходила от нас на почтительном расстоянии, и разглядеть ее возраст и черты лица не было никакой возможности. Но ее грузная фигура, весело покачиваясь, почему-то внушала мысль, что старуха и в самом деле когда-то плясала в балете и даже пользовалась в роли Одетты успехом у адмирала Курбатова. Откуда поступила ко мне эта информация, я не мог понять, потому что впервые в жизни видел эту даму и воспринимал ее биографию как результат чистой гипотезы. Проверять свои домыслы я не имел охоты. Но меня не покидало чувство, что стоит моей балерине поравняться с фонарным столбом, вон с тем, с третьим по счету, к которому она приближалась, как с ней случится несчастье. А именно: мне казалось, что старуха должна поскользнуться на том самом месте, которое я предугадывал, и я даже подумал, не дать ли ей об этом сигнал, но из любопытства сдержался и, затаив дыхание, следил за ее движением. И когда она, добредя до предугаданной точки, свалилась как по приказу, взмахнув короткими ручками, я почувствовал в глубине души что-то вроде угрызений совести, как если бы сам подтолкнул ее на скользком месте.

Мы с Наташей кинулись тянуть ее с двух сторон. Перепуганная старуха никак не хотела вставать и все садилась промокшим задом на ледяную поверхность, и говорила, что не может ступить правой ногой, потому что там у нее сломалась главная кость. Она уверяла страшным шепотом, будто, падая, слышала какой-то треск и хруст. Из ее беззубого рта пахло хорошим портвейном.

Пока мы возились и мучились с этой пыхтящей кучей, вся ситуация в моем уме окончательно прояснилась. Старуха явно преувеличивала свое печальное положение. Ни о какой правой ноге не могло быть и речи, потому что эту ногу она утратила в катастрофе, лет тридцать тому назад, и взамен ее, по секрету, пользовалась прекрасным протезом, который и был предметом ее истинного беспокойства. Но я мог бы поклясться, что замечательный аппарат, выполненный из алюминия, в Берлине, на средства адмирала Курбатова, ничуть не пострадал при падении и несколько не поцарапался.

— Вставайте, Сусанна Ивановна, вы получите радикалит, — уговаривал я строго мнительную женщину и даже прикрикнул на нее под конец, чтобы как-то воздействовать...

Зато потом ее восторги превзошли все ожидания. Убедившись в завидной прочности немецкого алюминия, она благодарила меня с чисто французской горячностью. Ей не казалось странным, что я, не будучи с нею знаком, называю ее Сусанной Ивановной. Она воспринимала всё как должное и твердила, что счастлива встретить такого любезного молодого человека, который несомненно помнит ее в незабываемой роли Одетты на сцене Санкт-Петербургского Мариинского театра.

— Ах, если б ко мне возвратились мои девятнадцать лет! — вскричала Сусанна Ивановна, и, приложив к беззубому рту кончики рваных перчаток, послала мне поцелуй. С большим трудом мы с ней распрощались, пожелав как можно внимательнее передвигать скользкие ноги...

Наташа много смеялась и, конечно, выпытывала — откуда я знаю эту Сусанну Ивановну. Мне пришлось выдумывать туманную версию о каком-то журнале, где будто бы была напечатана старая фотография молодой балерины, поразившая меня однажды в юношеский период моего увлечения историей русского театра. Наташа сказала, что ужасно меня ревнует, и с милой грацией разыграла ревность на своем лице. Потом она дурачилась и ласкалась ко мне, очень сильно ласкалась в тот вечер. Я как мог отвечал ей взаимностью...

Но образ Сусанны Ивановны не выходил из моей головы. Мне продолжало казаться, что старуху подстерегает несчастье. Нет, нет, с ногами у нее всё будет в порядке — в этом я был уверен. Но мне вдруг открылись иные возможности ее скорой смерти. Я почему-то представил, что через два месяца она умрет от рака матки. И еще другие предчувствия копошились во мне...

Когда мы замерзли, Наташа спросила, как мы двинемся — пешком или на троллейбусе? Я долго не мог выбрать, какой вариант лучше. Насчет самого себя у меня не было опасений. Но мою Наташу я не вел, а почти нес на весу, как несут из магазина пакет с яйцами. О том, как яйца бьются, я старался не вспоминать.

Мы уехали на троллейбусе: уж очень было скользко.

2

Все-таки на другой день пшел мелкий снег и покрыл тонким слоем тротуары и мостовые. К ночи появилась иллюзия какой-никакой зимы, чистоты и порядочности, и я, поборов отвращение, дал Наташе согласие встречать

Новый год вместе с ней и Борисом в одной незнакомой компании. Мне было ясно, что Борис на правах бывшего мужа давно выпрашивает у нее эту льготу. Наташа вторую неделю лезла ко мне с уговорами:

— Понимаешь, ему плохо. Нам с тобой хорошо, а ему плохо. У него, может, в жизни одна только радость — иногда видеть меня. Только видеть и ничего больше. Он даже предлагал, чтобы мы приходили вдвоем. И совсем в чужом доме, на нейтральной почве. Никто никого не знает...

Я не мог понять эту готовность Бориса сносить мое присутствие. Я бы на его месте такого себе не позволил. Но мне в конце концов было наплевать на его личные переживания, а Наташе я не хотел ни в чем отказывать, будто чувствовал уже тогда, что всё это скоро кончится.

— Ладно! Чорт с вами, с твоим Борисом и с твоей филантропией! — сказал я Наташе за час до полуночи. И мы поехали в чужой дом, к незнакомым людям, захватив для приличия пару бутылок вина.

Как всегда это бывает в случайных компаниях, где народ сходится первый попавшийся, с борю по сосенке, время здесь тянулось медленно и тоскливо. Прокричав первые тосты и погалдев немного во славу наступившего года, все как-то внезапно ослабли, растерялись и присмирели. Каждый из нас, вероятно, с нетерпением ждал этой минуты и предвкушал ее за неделю, а то и за месяц, а вот собрались мы вместе за праздничным столом и вдруг выясняется, что делать нам абсолютно нечего и лучше бы мы пораньше легли спать. Но поскольку на эту ночь возлагались надежды, никто не уходил, а все сидели и выжидали и тарасили друг на друга заспанные глаза, точно думали, что кто-то из нас вот сейчас встанет, и что-то такое сделает, и сразу осуществит все наши надежды.

Жизнерадостный красавец кавказского происхождения, с лихими усиками над жгучим ртом, в течение получаса пытался внести веселье в нашу скучную обстановку, рассказывая анекдоты из быта сумасшедших. Когда же ему довелось с опозданием убедиться, что ни его сюжеты, всем давно опостылевшие, ни его преувеличенный восточный акцент ни у кого не вызывают даже простой улыбки, он тоже перестал дико скалиться и хохотать и затих в мечтательности, надув малиновые, безвольные, по-женски сладкие губы.

Летчик-испытатель с неестественно деловитым лицом беседовал со своей женой о домашних закупках, как будто

у них не было случая поговорить на эту тему в другом месте. Холостяки, не имея иного выхода, бешено курили. Незамужние девицы, одна другой безобразнее, бегали попеременно в уборную, понуждая меня и Наташу всякий раз приподыматься и освобождать им дорогу между столом и диваном.

Пожалуй, один Борис не терял времени даром. Забывшись в дальний угол, он не сводил с Наташи влюбленных жалобных глаз, и смотреть на него было тошно. Наташа, опустив ресницы, похожая на покойницу, позировала ему, сидя подле меня. Не вдаваясь в глубину всех эти отношений, я пил рюмку за рюмкой, пил и и не закусывал.

Мой пьяный взгляд невольно тянулся к елке, на которой, наконец, зажгли свечи, и я потребовал, чтобы всё другое в комнате погасили, предоставив одним свечам свободу действия. Они весело мигали и славно потрескивали, и создавали вокруг себя праздничную атмосферу, не достающую нам, и постепенно все мы, за исключением, может быть, одного Бориса, подпали под их влияние и как-то сгрудились и приютились подле нашего домашнего елочного иконостаса. На несколько минут в доме воцарилась торжественность, наверное та самая, которую мы искали, придя сюда, и ради которой стоит иногда потерпеть в обществе чужих и противных тебе людей.

Но мало-помалу свечи подходили к концу, и меня вновь охватило недавнее чувство тревоги, рассеянное было спиртными парами и почти полностью исчезнувшее при виде елки. Я с беспокойством наблюдал, как ее огоньки, вспыхнувшие бойко и дружно, теперь выгорают с разной продолжительностью и с различным, я бы сказал, мимическим сопровождением. Должно быть, это объяснялось величиной фитилей и прочей технологией свечного дела, но меня по понятным причинам занимала и волновала совсем иная сторона этого предприятия.

Я не считаю себя пессимистом, но должен сказать со всей ответственностью, что если вдуматься повнимательней в существо жизни, то станет ясно, что всё кончается смертью. В этом нет ничего особенного, и было бы даже недемократично, если б кто-нибудь из нас вдруг уцелел и сохранился. Конечно, всякому жить хочется, но как подумаешь, что Леонардо да Винчи тоже вот умер, так просто руки опускаются.

И всё было бы ничего, когда бы в этом вопросе соблюдалось полное равенство, братство и железная закономерность. Если бы мы, например, уходили с лица земли

в организованном порядке, большими коллективами, серийно, по возрастным, например, или по национальным признакам. Отжила одна нация положенный срок и конечно, давай следующую. Тогда бы всё, конечно, было проще, и неизбежность этой разлуки не имела бы такой волнующей и нервирующей остроты. Но в том-то и состоит главная сложность и вместе с тем пикантная прелесть существования, что ты никогда не знаешь в точности, когда ты перестанешь существовать, и у тебя всегда остается в запасе возможность превзойти соседа и пережить его хотя бы на лишний месяц. Всё это сообщает нашей жизни большой интерес, риск, страх, ажиотаж и большое разнообразие.

И вот, взирая на свечные огарки, которые в моем нетрезвом уме как-то сместились и заместили всех нас, собравшихся здесь бездельников, я следил с интересом и душевным содроганием за их неравномерной кончиной.

Одни догорали так же беспечно, как жили, и даже усиливали к финалу расточительную яркость пламени. Другие, с середины пути, пускались в экономию, словно понимали, в чем дело, и рассчитывали оттянуть развязку как можно дальше. Но это им не всегда помогало и случалось так, что какой-нибудь бережливый фитиль неожиданно потухал от преизбытка собственного парафина, не дотянув до дна подсвечника целых два сантиметра.

Третьи лишь в конце постигали весь ужас своего положения, и тогда они принимались метаться из стороны в сторону на жестяном ложе, бросая на стены и потолок преувеличенные рефлексии, и выпускать до отказа все соки и газы, и захлебываясь, тонуть в своем заживо разложившемся теле, являя взору все признаки самой непристойной агонии.

Теперь-то мне понятно, что я допустил оплошность, увлекшись этой игрой разгоряченного ума. Но вторая моя ошибка, еще более жестокая и сыгравшая в моей судьбе такую же неотвратимую роль, как вечер на Цветном бульваре, заключалась в том, что я, поддавшись соблазну, выбрал из тех свечей самую, как мне казалось, подходящую и загадал на ней сроки моей жизни и смерти.

И что же получилось? Пока все свечи вокруг меня постепенно редели, я жил себе и жил в виде скромного огонечка, и уже в комнате сделалось совсем темно, а я в одиночестве не переставал коптеть, пережив, к моему удивлению, всех присутствующих по крайней мере лет на десять.

Кто-то встал, чтобы повернуть выключатель. Но я сказал — пусть будет темно и пусть сначала полностью сторит последний огарок. И не спуская с него глаз, я мысленно вел счет, чтобы полностью измерить годы, причитавшиеся мне по закону: раз, два, три, четыре, пять, шесть...

В общей сумме, считая с достигнутым возрастом, я насчитал моей жизни восемьдесят девять лет и, когда я дошел до восьмидесяти девяти, в комнату, едва освещенную, вошла медсестра или, может быть, простая больничная нянечка и, приблизившись к моему изголовью, склонилась над ним.

Искра жизни все еще тлела во мне: я умирал при полном сознании, медленно и спокойно, и никак не мог умереть. Вокруг меня храпели и слабо бредили во сне соседи по палате; пахло карболкой, нечистотами; больничная нянечка, присев на казенную табуретку, с нетерпением поджидала, когда я отпущу ее спать. Ей очень хотелось спать и она громко зевала, крестилась и почесывалась и укоризненно поглядывала на меня, проверяя время от времени, умер я или нет, а я, хорошо сознавая, правоту ее понуканий и свою бестактность, не имел физических сил сказать словами или дать ей понять каким-нибудь знаком, чтобы она ушла. Я только смотрел на нее с извиняющимся выражением, и только стыд перед этой доброй женщиной, которая одна в целом мире еще имела ко мне слабое отношение, — стыд, что я все еще живой, владел мною и доводил до отчаяния. Мне было так стыдно и скверно, что я поднялся и, торопливо задув остаток, включил в комнате свет.

...Осовелые глаза собутыльников и собутыльниц вопросительно уперлись в меня, точно я перед ними тоже был виноват и на мне лежала обязанность рассеять их пребывание в моем обществе. Кто-то, позевывая, предложил во что-нибудь поиграть — в шарады, например, или в фанты. И опять все понукающе посмотрели на меня, как будто я здесь был распорядителем и от меня всё зависело. Тогда я воскликнул, стряхивая смешными ужимками паутину стыда и страха с облепленного лица:

— Внимание! Внимание! — воскликнул я и щелкнул пальцами, как выключателем. — Сейчас перед вами выступит знаменитый чтец-хиромант! Прорицатель прошлого и грядущего! Желающих прошу испытать!..

Сперва, конечно, никто не поверил в мой талант, да и мне самому плохо в это верилось. Но когда я начал с математической быстротой перечислять факты, и даты, и

разные редкие детали из жизни летчика-испытателя, а он подтверждал всякий раз, что я опять угадал, все пришли в восхищение и в удивление и принялись наперебой меня просить и теревить....

Я мельком проглядывал диаграмму какого-нибудь лица и сразу называл год рождения, цифру зарплаты, номер паспорта, число аборт... Я предпочитал цифры, цифры, потому что они в наше время убедительнее всего говорят о реальной жизни.

— А будущее вы тоже предсказываете? — спросила одна студентка Института легкой промышленности.

— Кое-что предсказываю, — ответил я уклончиво. — Например, через неделю, на ближайшем экзамене вы получите «пять» по марксизму-ленинизму. Можете не готовиться, я назову билет, который вам достанется: 5-ый съезд партии и 4-ый закон диалектики.

Она захлопала в ладоши и радостно объявила, что ничего не будет учить кроме этих вопросов.

— Как вы можете это знать? — допытывался красавец-грузин. — Кто вам поверит?

— Потерпите одну неделю и проверяйте, — возразил я, слегка задетый.

Но они не хотели терпеть, они желали тут же, немедленно удостовериться в моей способности предупреждать события, и тогда меня осенила одна идея:

— Хорошо, — сказал я. — Подождем одну минуту. Через минуту, я обещаю, на стене появится клоп. Вон там — видите литографию? Кажется — Джорджоне. Он опишет полный круг и уползет налево, под соседнюю окантовку...

И вскоре, как я предсказал, на стене появился клоп. Он вылез из-под спящей Венеры и, сделав обещанный круг, перекочевал на другую девушку — с разбитым кувшином. Женщины завизжали. Кто-то высказал мнение, что клопа никакого нет, а это с моей стороны чистый гипноз. Другие перешептывались, что клоп у меня дрессированный и я его сам подпустил незаметно из рукава. А скептически настроенный красавец-грузин сказал:

— Подумаешь — клоп. Клопа предсказать нетрудно. Мелкая вещь. Пускай он лучше предскажет, когда на всей земле наступит коммунизм...

Я пропустил эту фразу мимо ушей: грузин был провокатором.

Присматриваясь к нему краешком глаза, я заметил далее, что у него между животом и ключицами вырастают с большой быстротой настоящие женские груди. Вскоре

его молодой, девический, но вполне оформленный бюст сделался совершенно доступен моему зрению. Усы, однако, и остальные черты мужчины он удержал за собою, и всё это в сочетании с девичьей грудью сообщало ему вид истинного гермафродита.

Я не знал в первый момент, как это понять, и подумал, что может быть на меня действует мое нетрезвое состояние, и обрадовался такой возможности объяснения, позволяющей надеяться, что прочие странности и намеки последних дней также имеют в своей основе что-то хорошее и простое. Увы! эта надежда не долго меня обольщала: не вино и не водка, выпитые в изрядном объеме, а иные силы владели мною и заставляли видеть окружающий мир в превратном свете.

Вслед за грузином все прочие гости тоже начали как-то меняться. Контуры тел, росчерки лиц пришли в дрожание, напоминающее вибрацию сигнализационных приборов. Каждая линия перестраивалась и расплывалась, порождая десятки дышащих очертаний. У многих женщин выросли бороды, блондины темнели и переходили в брюнетов, а затем лысели до основания и вновь покрывались свежим волосом, и покрывались морщинами, и молодели, до того молодели, что становились похожими на детей, кривоногих, большеголовых, мутноглазых, которые в свой черед принимались расти, закаляться, толстеть и худеть.

При всем том каждый сохранял какое-то подобие первоначального облика, так что я имел возможность с некоторым трудом распознавать их и беседовать с ними, хотя теперь я ни в чем бы не посмел поручиться в их судьбе и жизненном поприще.

Еще недавно я твердо знал, кто из них вор, а кто двоеженец, и кто тут тайная дочь беглого белогвардейца, а сейчас всё смешалось и находилось в развитии, и я не мог понять, где кончается один человек и начинается следующий. Когда один молодой инженер по фамилии Бельчиков обратился ко мне учтиво и предложил угадать, в каком году он родился, у меня моментально чуть не вылетела изо рта дикая цифра, нарушающая все законы, установленные природой: 237-й год до нашей эры!

Этот ответ пришел мне на ум помимо воли, автоматически, под воздействием, видимо, тех изменений, какие произошли в Бельчикове. На инженере эфемерно светилась старинная пожарная каска, а под его широким шерстяным костюмом свешивались белые простыни, в которые он весьма неловко завернул рослое тело, оставив неубранными

голые ноги в брюках. Но, разумеется, не эти брюки, а пожарная каска и какие-то другие неуловимые элементы вдохновили меня на мысль, что инженер Бельчиков родился в 237-ом году. И не просто в 237-ом году, а до нашей эры.

К счастью, я не высказал это вслух: каска рассеялась в воздухе, а простыни заволновались и оттуда появилась фигура не слишком юной, но вполне еще дееспособной красавицы — безо всяких простыней. Я, не колеблясь, узнал в ней проститутку, тоже, должно быть, довольно древнего происхождения. Всем своим телом она делала веселые знаки, но мой глаз не успел насладиться ею, как легкомысленное создание исчезло, оставив вместо себя не то попа, не то просто скопца мужского пола. Этот в свою очередь, подождав две секунды, превратился опять в проститутку, но — другую, показавшуюся мне менее привлекательной, чем та, которая была вначале. И так они менялись и соревновались друг с другом, монахи и проститутки, проститутки и монахи, выступая всякий раз в новом качестве и в разной цене, покуда не достигли опять положения инженера Бельчикова. Он стоял предо мною, учтиво повторяя вопрос:

— Когда я родился, определите пожалуйста...

Пока он был инженером и не успел стать никем другим, я сказал торопливо, что он родился 1 марта 1922 года в городе Семипалатинске, а чтобы он больше не смел приставать ко мне с глупыми вопросами, я добавил во всеуслышание, что родители у него до революции держали в Семипалатинске мясную лавку с приказчиком, а не были крестьянами-батраками, как он любил писать в своих анкетах. При этих словах инженер Бельчиков покраснел и испугался, и, испугавшись он сызнова начал мелко дрожать и срочно перестраиваться.

Но раньше мне казалось, что всё это совершается в прошлом, в древние века, во всяком случае никак не позднее 1922 года нашей эры. Теперь же его куртизанки развивали деятельность, а суровые аскеты ее погашали и замаливали — на ином, высшем этапе исторического процесса, знаменуя. должно быть, možдоусобной борьбой дальнейшую эволюцию инженера Бельчикова. Прикинув возможные границы их мимолетных существований, я убедился, что мы мало-помалу добрались уже до середины двадцать четвертого века. Но они всё мельтешили передо мною, намекая своим поведением, что даже в прекрасном будущем мы не освободимся до конца ни от поповского

дурмана, ни от женской слабохарактерности, хотя всё это, конечно, примет новые социальные формы и будет выглядеть совсем иначе...

Спешу оговориться: я не собираюсь из этого делать никакой теории и не хочу ни подо что подкапываться. Мне хорошо известно, что всякий человек, будь то хотя бы сам Леонардо да Винчи, есть производный продукт экономических сил, которые всё на свете производят и экономят. Я желал бы добавить к этому только одно замечание, что человеческий, так сказать, индивидуум, характер, личность и даже — если угодно — душа — тоже не играют в жизни никакой роли, а есть лишь опечатка нашего зрения, вроде пятен в глазу, возникающих в тех, например, случаях, когда мы тычем в него пальцем или долго, не мигая, смотрим на яркое солнце.

Мы привыкли, что люди ходят в воздухе, который кажется нам пустым и прозрачным, тогда как людские фигуры, овеваемые ветерком, имеют видимость твердости и большой густоты. Вот эту равномерную плотность и законченность силуэта, выступающего особенно хорошо на светлом воздушном фоне, мы ошибочно переносим на внутренний мир человека и называем это «характером» или «душой». На самом же деле души — нет, а есть лишь отверстие в воздухе, и сквозь это отверстие пронесется нервный вихрь разобщенных психических состояний, меняющихся от случая к случаю, от эпохи к эпохе.

Когда я выше упомянул, что в судьбе инженера Бельчикова видное место занимали распутницы и попы, я не хотел ничем задеть этого славного человека, а попросту констатировал общее положение дел. Не сам инженер Бельчиков, а тот, кто в настоящий момент жил под его псевдонимом, точнее сказать — та невыразимая дырка, которая в данный отрезок времени была заполнена его инженерским Бельчиковским состоянием, в другие времена служила пристанищем совсем иным состояниям, регулярно обновлявшимся, — уж я не знаю зачем, может быть в целях какого-нибудь исторического баланса.

Любой из нас, если будет к себе внимательным, обнаружит без труда самые неожиданные рецидивы прошедших и будущих состояний, вроде, например, желания украсть, убить или продаться за хорошие деньги. Я про себя честно скажу, что иногда сильно испытывал в этой самой, с позволения выразиться, душе и не такие еще позывы, и вы тоже всё это у себя найдете в большом количестве, если не станете хитрить и бесстыдно увиливать. Главное — не

лицемерьте, и вы поймете, что нет у вас никакого права говорить — «он — вор», а «я — инженер», потому что никакого «я» и «он» в сущности не существует, а все мы — воры, и проститутки, и может быть еще хуже. Если вы думаете, что вы не такие, значит вам временно повезло, а в прошлом, хотя бы тысячу лет назад, мы все были такими или в будущем непременно достигнем этого уровня, о чем нам без умолку твердят наши сладостные воспоминания и горькие предчувствия...

Впоследствии я кое-как овладел опасным искусством видеть дальше, чем это установлено нашей природой. Я научился контролировать себя, и регулировать, и иметь дело с людьми, как если бы они взаправду находились в постоянных границах своей личности и биографии. Но в ту минуту мне казалось, что меня окружают не два десятка, а по крайней мере две сотни движущихся физиономий. Я скользил глазами по их поверхности, боясь угодить в полынью — глубиной, быть может, в пятьсот, в тысячу и в десять тысяч лет. Ужас Цветного бульвара, переселившийся меня в эпоху ископаемых троллейбусов, стыд и позор моей недавней смерти призывали к осторожности, а я не мог остановить разъезжающиеся глаза, которым ни один предмет не казался достаточно прочным и достоверным.

И тогда, ища поддержки, я обернулся к Наташе, хотя знал заранее, что этого нельзя допускать. Ведь понимал же я, что Наташа тоже была человеком, и у нее, следовательно, могли появиться какие-нибудь усы на лице, не говоря уже о признаках более радикальных. Мне не было вполне ясно, какие события на нас надвигаются, но я на всякий случай избегал на нее смотреть слишком пристально, потому что мог, значит, догадываться, что с такими вещами шутить не следует...

И все-таки, ловя глазами опору, я посмотрел на нее и в первый момент был обнадежен, не найдя там ни усов, ни бороды, ни других безобразий, способных в один миг испортить всю красоту. Но вместе с тем голова Наташи тоже слегка отсутствовала. Я угадывал ее скорее по привычке и, чем больше приглядывался, тем явственнее различал угрожающее отсутствие черепа, доходившее почти до шеи и до краешка подбородка. При этом тело Наташи не падало и не сползало вниз, а выпрямленно покоилось в кресле, и пальцы ее поправляли невидимую прическу, выделявая в пустом пространстве беспочвенные пируэты.

Мне стоило труда, лавируя глазами, восстановить истину в Наташиной внешности, собрав по порядку ее лицо и

голову, как поступают реставраторы с разбитыми вазами. Но я не хотел думать, как трескаются и разлетаются в прах эти бьющиеся сосуды, если уронить их на тротуар, или ударить ледяшкой, или, предположим, с какой-нибудь высоты сбросить на них нечаянно какую-нибудь твердую тяжесть. Я вообще старался поменьше размышлять о случившемся, потому что Наташа была слишком хрупка для этого и могла опять не выдержать внезапного столкновения с моим шатким сознанием.

— Пойдем домой, Наташа, — сказал я негромко, ощущая в сердце усталость и какое-то безразличие. Чувство непоправимой утраты было так велико, что меня почти не коснулось высказывание Бориса, который вдруг сказал из своего угла:

— Скажи мне, кудесник, любимец богов, — проговорил он с кривой улыбкой. — Угадай попробуй, чем я занимался в прошлое воскресенье с десяти до одиннадцати?!..

Это были единственные слова, которые он произнес, и вся зависть, накипевшая в нем, и ревность, и срамота сосредоточились в этом вопросе, выпущенном из угла. Он даже не пощадил Наташу, а так прямо в ее присутствии назвал день и час — «в прошлое воскресенье, с десяти до одиннадцати», чтобы тем сильнее позлорадствовать надо мной изнутри и заодно испытать на практике тонкость моей проницательности.

При других обстоятельствах я избил бы его на месте и натворил бы, наверное, массу других безумств. Быть может, в порыве гнева я отказался бы от Наташи, вернув ее Борису с брезгливым определением. Но тут я знал о ней больше, чем он мог представить. Посреди всех несчастий, свалившихся на меня и готовых свалиться в самое ближайшее время, мне казалось не столь существенным, что Наташа мне изменяла с десяти до половины одиннадцатого в прошлое воскресенье. Не до одиннадцати, а до половины одиннадцатого, если уж быть пунктуальным...

Не глядя на нее и не отвечая Борису, я сказал мягко и медленно, как если бы ничего не случилось:

— Пойдем, Наташа, домой. Пойдем, пожалуйста.

Она сразу встала и прошлась со мною по комнате, обхватив меня под руку своей теплой рукой. Я был ей признателен за этот знак постоянства. Что ж из того, что Наташа по-немногу не изменяла, уступая молям и воздействиям своего бывшего мужа? Она делала это из жалости и по старой привычке. А любила она только меня,

любила систематически, как могла и пока могла... Это надо ценить в наше смутное время.

В прихожей меня поймал летчик-испытатель и, притиснув к вешалке, захотел посоветоваться. Он выпытывал шепотом, по секрету от жены, когда ориентировочно ему предписан конец. Его волновало, заводить ли ему ребенка и стоит ли покупать холодильник.

В ту ночь я дал зарок никому не говорить о смертных исходах, дабы не расхолаживать в людях романтическое настроение и сохранять в них бодрость духа и здоровую предприимчивость. Но здесь мне пришлось сделать уступку. Смерть в его профессии летчика-испытателя была регулярным занятием и возбуждала в нем спокойное отношение, а не являлась предметом праздного любопытства. Поэтому я сказал, как мужчина мужчине, что жить ему остается пять с половиной лет, после чего, набирая рекордную скорость, он превратится в пар в районе Тихого океана, не успев понять технической причины столь нечувствительного исчезновения.

При этом известии он страшно развеселился. Пять с половиной лет показались ему немалым сроком. На это он никак не рассчитывал, ожидая, что всё произойдет значительно быстрее. Теперь он мог себе позволить покупку холодильника и наслаждение с женою, не омраченное противозачаточными средствами, и радовался как дитя.

— А признайся, браток, — прохрипел он, трясясь от хохота и колотя меня по плечу. — Признайся — клоп у тебя ученый, дрессированный, вроде собаки? Ловко ты нас разыграл с этим своим клопом. Расскажи, открой военную тайну, я никому не скажу...

Этот летчик легко поверил, когда я предсказал ему смерть в ракете через пять с половиной лет. Но понять, как можно предвидеть переползание клопа по стене, — было свыше его сил.

3

Глухарь замертво скатился с березы, словно его дернули за веревку. Я спустил курок и, прицелившись, вижу, что он сидит на суку, здоровенный черный петух, и глядит на Диану. Мы слезли с коней и поскакали. — «Ни пера, ни пуха», — Катенька в розовом капоте машет ручкой с веранды. Прыгнув в седло, я сбегаю с крыльца и натягиваю сапоги. — «Пора, барин, вставать, скоро светает», — кричит мне в ухо Никифор. Мои руки обняли его тугие

икры: — «Не покидай нас ради Бога, ради сына твоего умоляю...» Он смотрит в сторону, бледный от злости: — «Сударыня, нас могут заметить». Я взял скальп в зубы и поплыл. На середине реки мне сделалось дурно. Не разжимая рта, я погружаюсь...

— Скажи, Василий, кто такой Пушкин? — спрашивает меня жена за обедом.

— А это, милочка, один такой древне-русский писатель. Пятьсот лет тому назад его расстреляли.

— А кто такой Болдырев?

— Это, милочка, тоже один великий писатель. Автор пьесы «Впотьмах» и многих стихотворений. Двести лет назад его расстреляли.

— И всё-то ты знаешь, Василий, — говорит жена и вздыхает.

Я стреляю из пушки, я стреляю из арбалета, я стреляю из катапульты. Они бегут. Мы бежим, бежим и вбегаем в город.

— Пойдем в подвал, — говорит Бернардо. — Есть одна девушка. К сожалению, уже умерла, но еще не зачоченела.

Мы спускаемся. Девушка лежит на камнях — животом вверх. Её лицо прикрыто задранной юбкой.

— Не годится, — говорю я. — Что скажет Дева Мария?

— Ей теперь всё равно, — возражает Бернардо.

Он берет доску и подкладывает ей под крестец. Перекрестившись, я ложусь первым. Бернардо жмёт ногой на рычаг. Девушка покачивается подо мной, точно живая.

— Поторапливайся, — говорит Бернардо.

— Молчи, не мешай мне, — отвечаю я и зажмуриваюсь...

— Я люблю тебя, Сильвия!

— Я люблю тебя, Грета!

— Я люблю тебя, Христофор!

— Я люблю тебя, Степан Алексеевич!

— Я люблю тебя, Василий!

— Я люблю тебя, мой котёночек, моя пуговка, моя устрица, мой бутербродик!..

— говорят они мне и целуют в губы.

Тьфу!

Слепень бьётся в стекло. Снег сверкает на солнце. В графине стынет молоко. Митя чихает.

Раз чихнул — обвал в Гималаях, обломки неба погребают нас вместе с носилками.

Два чихнул — молния ударяет в храм Пресвятой Троицы, гремит гром, горит крыша сарая, горят стога с сеном.

Три чихнул — наводнение, пастор Зиновий Шварц вер-  
хом на корове переправляет стулья в чехлах.

— Митя! — говорит мне дядя Савелий, откладывая  
«Московские Ведомости». — Если ты не перестанешь чи-  
хать, я тебя высеку...

Несколько дней я провел дома, предаваясь этим виде-  
ниям. Они были отрывочны, бессистемны, и мне никак  
не удавалось отделить одну мою жизнь от другой и рас-  
положить их в должном порядке, по восходящей линии.  
С другой стороны, отсутствие промежуточных звеньев,  
соединяющих смерть с рождением, также интриговало ме-  
ня с научной точки зрения. Но, видно, подземные пере-  
гоны мне не дано было постичь, и потому логика всех  
этих превращений от меня ускользала, и я не понимал,  
кому понадобилось делать из меня посмешище. То индеец,  
то, видите ли, итальянец, а то попросту невинный ребёнок  
Митя Дятлов, скончавшийся неизвестно зачем восьми лет  
от роду где-то на рубеже 30-ых годов 19-го столетия...

Лишь один раз предо мной приоткрылась завеса, опу-  
скающаяся в антрактах, и я увидел себя лежащим на столе,  
в чепчике, в кисейном платье, в позе трупа, вполне сфор-  
мировавшегося и приготовленного к захоронению. Подле  
стола, не стесняясь, плакал навзрыд мой муж, а мои дети  
приподымались на цыпочки, с ужасом и любопытством  
взглядывая в лицо, уже начинавшее видоизменяться. Но  
сам я, живой человек, смотрел на эту сцену откуда-то  
сбоку и свысока, и я тоже плакал и кричал во весь голос,  
чтобы они подождали со мною прощаться, потому что,  
может быть, я соберусь еще с силами и встану. А также  
я просил, чтобы они убрали цветы, потому что меня му-  
тило от этого запаха кондитерской. Но они не обращали  
на меня никакого внимания и скопом вынесли моё тело  
в дверь, как заведено, ногами вперёд, и я бежал за ними  
по нашей мраморной лестнице, крича, чтобы меня подо-  
ждали, и потерял сознание...

Иногда в этом потоке нахлынувших воспоминаний я  
утрачивал ясность мысли, кто я такой и где нахожусь.  
Мне начинало казаться, что меня нет, а есть лишь беско-  
нечный ряд разрозненных эпизодов, случавшихся с дру-  
гими людьми — до меня и после меня. Чтобы как-то вос-  
становить и засвидетельствовать мою подлинность, я  
крался к зеркалу и сосредоточенно туда смотрелся. Но это  
мне помогало очень ненадолго.

Человек уж так устроен, что его наружность всегда  
кажется ему недостаточно убедительной. Глядя в зеркало,

мы не перестаём удивляться: неужели вон то мерзкое от-  
ражение принадлежит лично мне? не может быть! В этой  
невозможности отделить себя от себя есть что-то фаталь-  
ное в нашей жизни, и мне, наблюдавшему однажды свои  
похороны и только что описавшему это явление, позво-  
лительно будет заметить, что чувство, которое я испытал  
тогда, лишь повторило в удесятерённых размерах наши  
общие переживания перед зеркалом. Это — чувство несо-  
гласия с тем, что тебя выносят куда-то во вне, в то время  
как ты находишься вот здесь, внутри. Кто-то, я полагаю,  
сидит в нас и всякий раз горячо протестует, когда его  
хотят уверить, будто он и есть та самая личность, кото-  
рую он видит перед собой. Поднесите ему к носу сколько  
угодно зеркал самой лучшей конструкции. Он, сидящий в  
нас безвыходно и безвыездно, — глянет и замашет руками:

— Что вы, с ума сошли! Разве это я?

— А кто же тогда?

— Нет-нет, это не я, не я! — запищит он вопреки оче-  
видности.

Лишь хорошенькие женщины способны часами бес-  
страшно на себя любоваться. Но это объясняется тем, что  
они мало думают и смотрят на себя не своими глазами,  
а посторонним взглядом своих оценщиков и потребителей.  
Все же прочие, нормальные и умные люди не выдерживают  
испытания зеркалом. Потому что зеркало, как смерть, про-  
тивоположно нашей природе и вызывает в нас тот же  
страх, недоверие и любопытство.

Сомнительно, чтобы кусок стекла, обмазанный какой-  
то пакостью, был способен правильно передать всю глу-  
бину человека. И мы начинаем храбриться, кривляться и  
гримасничать, точно хотим этим выразить своё сомнение  
в призраке, который с независимым видом маячит перед  
нами. Дескать — ну тебя! пошел прочь! сгинь! рассыпья!

Ужасает, однако, то, что вопреки здравому смыслу он  
также начинает кривляться вслед за тобою, и дует на тебя,  
и бормочет прямо в глаза: — Рассыпья, дурак, рассыпья!

Вот и не знаешь, кому верить — ему или себе? — и  
мучаешься над мировыми загадками, и сомневаешься, и  
строишь глупые рожи, пока не плюнешь на него всердцах  
и не пойдешь прочь, довольный уже тем, что он тоже  
очищает позицию и вопрос о твоём бессмертии остается  
пока открытым.

Попробуйте часок-другой провести перед зеркалом и  
вы поймете меня.

Но мои сомнения были ещё мучительнее. Через не-

сколько минут задумчивого противостояния передо мной возникали портреты тех самых существ, которые когда-то здесь обитали и глядели на себя в различные зеркала. Своей непривлекательной внешностью они оттесняли на задний план моё собственное истинное изображение — какое я всегда знал за собой и мог бы подтвердить это десятками фотокарточек. Теперь он подёргивалось ухмылками и прищурками, оно закатывало глаза, и финтило носом, и намывливалось для бритвы, и слезилось, и пузырило щёки, и выдавливало из себя угри и прыщи, хотя сам я при этом ничего такого не делал, но сохранял изо всех сил спокойствие и серьёзность. Мне приходилось сдерживаться из боязни, что моё лицо по старому обычаю захочет притти в соответствие со своим отражением. Тогда бы, передразнивая чужие гримасы, я бы окончательно свихнулся как самостоятельная единица. Поэтому, подходя к зеркалу, я всякий раз принимал каменное выражение.

Не знаю, чем бы кончились эти опыты, если бы одна встреча не показала мне тогда всю рискованность этой игры с призраками памяти, грозившими прогнать меня с насиженного места.

Это был коричневый человек, маленький, пожилой, угловатый, похожий на летучую мышь со свернутыми перепонками. В качестве отражателя он пользовался какой-то стекляшкой, многогранно дробившей его фигурку, и без того достаточно ломанную. Но вот крупным планом показала его голова, лысая, костистая, туго обтянутая тёмной, пропеченной кожей, и злобное измождённое личико глянуло на меня с такой пронзительностью, что я понял — он здесь, он видит меня. Да, я видел его, а он видел меня, и мы замерли друг перед другом в испуганном изумлении, потому что он тоже вдруг заметил, что я смотрю на него и был не меньше меня поражен и перепуган. «Боже мой, неужто я был когда-то таким?!» — мелькнуло у меня в голове и далёкое жгучее воспоминание коснулось моего мокрого, моего похолодевшего лба...

Пустыня. Кварц. Солнце. У меня в пальцах кристалл. Что-то будет со мною через семьдесят пять обновлений? Спрошу?... Нельзя спрашивать! Спрошу! Никто не узнает. ...Вижу себя. Мудрая, красивая, кожаная голова... Кто — это? Кто — это? Белое, скользкое, в поту. Похож на улитку. До чего отвратителен! Какое-то мясо в тряпье. Веревка на шее. Удушенник. Выродок. Меня заметил. Глядит! Оттуда глядит!! Неужто видит? Видит, видит... Губы трясутся. И это — я, я! — таким буду?!

И почти одновременно с ним, на его темно-коричневом фоне, я увидел в зеркале себя — таким, каким он меня увидел тогда в своём кристалле, — и память о моём тогдашнем впечатлении от моего теперешнего состояния мигом нарисовала мне его: в немислимом пиджачке, в галстучке, обвязанном вокруг его белой, ублюдочной головёнки... Я, кожаный, задохнулся от ненависти к тому, пиджачному и студенистому. И я бросился прочь от кристалла (от зеркала?) — по пустыне (по комнате?), и, упав на кровать (на песок?), закрыл лицо руками. Мне показалось, что он сделал то же самое со своим — я не знаю уже с каким — кожаным или студенистым? — лицом...

Так они встретились и разошлись —

— вспомнивший о том,  
КТО увидел,  
как он вспоминает,  
и увидавший того,  
КТО вспомнил,  
как он увидел.

Между ними лежал промежуток в 5000 лет. Их было двое. А меня среди них не было...

Из этого отсутствующего состояния меня вывела Наташа. Она спросила удивленно:

— Ты спишь? Среди дня? Ты чем-нибудь заболел?

Это нежное «ты», сказанное Наташей, относилось лично ко мне, потому что в комнате никого не было, кроме неё и меня.

— Да, — ответил я, радостно вставая с кровати. — Я спал. Я здоров. Я отлично себя чувствую. Я рад твоему приходу. Я так рад. Я так, я так тебя люблю.

И мы крепко расцеловались...

Визиты Наташи в эти дни были для меня просветлением. Она вносила в мой дом недостающую дозу реальности. Рядом с нею я чувствовал себя крепче и уверенней в жизни, не казавшейся мне такой уж непостоянной, если здесь была Наташа, про которую я твёрдо знал, что любил её и люблю. Мне нравилось слушать её рассказы о профессорах, экзаменах и дипломных работах (она писала диплом о Тургеневе и собиралась кончать в этом году). И то, как она в пять минут приготавливала яичницу из трёх яиц и создавала на салфетке иллюзию чистоты и уюта, и то, как она устраивала из какого-нибудь полотенца изящный фартучек на груди и сразу принимала вид

молодой хозяйки, или то, как она перекусывала нитку возле самой иглы, — всё это также нравилось мне и укрепляло в сознании, что всё в этом мире стоит на своих местах.

Однако смотреть на неё слишком пристально я по-прежнему избегал. Не то, чтобы я боялся сигналов об опасности, которая всё равно не смогла бы от этого исчезнуть. А просто мне не хотелось лишний раз производить разрушения на её лице, регулярно случавшиеся при слишком сильном всматривании. Поэтому я предпочитал целовать её наощупь, не глядя, а в разговорах с нею по преимуществу смотрел на пол или в окно.

Она, конечно, заметила эту мою перемену и думала, что я догадываюсь о её связи с Борисом, но мы теперь не касались никаких скользких тем, на что у каждого из нас были свои причины. Новогодний успех в роли предсказателя я ей коротко объяснил давним знакомством с популярной системой научных опытов и развлечений Тома Тита. Наташа не стала меня расспрашивать. Она только допытывалась чаще обычного, не разлюбил ли я её из-за каких-нибудь пустяков, и на этот вопрос я говорил, что ничего в отношениях к ней у меня не изменилось, и обнимал её в доказательство, поглядывая на пол или в окно.

На дворе, несмотря на январь, стояла слякоть, и на соседних крышах висели сосульки и, хотя дворники их скалывали почти ежедневно, они вновь вырастали как грибы. И поглядев из окна на эту картину, удручающую меня своей неизбежностью, я принимался торопить Наташу с отъездом.

Разумеется, я не обмолвился ни о 19-ом января, которое приближалось, ни об угрозе, нависшей над нами из Гнездниковского переулка, с высоты большого, десятиэтажного дома, вполне достаточного, чтобы убить слабую женщину. Но я обдумал всё, и всё взвесил, и объявил Наташе про свое намерение провести вместе с нею отпуск вдаль от города, на лоне природы. За пять суток, 14-го января, я сказал, что нельзя медлить и сегодня мы уезжаем — поезд отходит ночью, билеты куплены. Однако никаких билетов у меня не было и денег тоже не было, и когда Наташа ушла складывать чемоданы, я решил прибегнуть к Борису за неимением лучшего выхода. Мне представлялось, что он не посмеет отказать в одолжении, если явиться к нему внезапно и без объяснений попросить взаймы, под расписку полторы тысячи.

В самом деле, Борис сперва отнекивался и приbedнялся,

но вскоре пошел на попятный, стоило намекнуть, в каком потайном отделении письменного стола хранятся у него деньги и в каких купюрах.

— Ты что же — насквозь видишь? Тебе бы сыщиком быть, — заявил он, некрасиво кривясь в закоченевшей улыбке. — Кстати, могу поздравить. Студентка — помнишь — на вечере? Получила «пять» по марксизму. Всё в точности, как ты предсказал. 5-ый съезд партии и 4-ый закон диалектики. А Бельчикова исключили из партии. Я проверял. Лавка в Семипалатинске полностью подтвердилась...

Мне было жаль Бельчикова. Я не хотел ему наносить жизненного ущерба, я просто тогда не подумал о возможных последствиях. Но с Борисом следовало держаться настороже. Борис был способен причинить крупные гадости. Вот и сейчас вокруг него витало хмурое облачко зеленовато-бурой окраски — верный признак злобы в сочетании с душевной подавленностью. Оно обволакивало его впалые щёки и завихрялось над теменем. Это было похоже на табачный дым, но Борис не курил.

— Послушай, — сказал он вкрадчиво и перестал улыбаться. — Бери полторы тысячи. Пожалуйста. Но зачем тебе Наташа? Куда тебе с ней? На твоём месте, с твоими феноменальными данными — женщины, автомобили. Дипломат высшего ранга, следовательно в международном разряде. Ни один преступник не денется. А Наташа тебе помеха. Вся карьера насмарку. Она будет спать с кем придёт. Я её знаю. Направо-налево. Она со мною живёт. Хотя ты ясновидящий, а у себя под носом не видишь. Она ко мне бегаёт каждое воскресенье. Можешь себе представить. На этой самой тахте...

И он пустился со мною в такую глубину откровенности, что я попросил его замолчать. В противном случае я пригрозил рассказать ему всю подноготную обо всех болезнях, от которых он сохнет, если не перестанет.

Это не привело его в разум. Он захлёбывался от страсти. Он силился опозорить Наташу, чтобы вернуть её в жёны. Притом он ужасно хвастал и безбожно преувеличивал, расписывая в ярких цветах, что было и чего не было.

Честно скажу, в этот раз мне было не до отгадок. Я нимало не заботился о правдивости моего предсказания, а городил всё, что попало и врал без зазрения совести — лишь бы его заглушить. Мне хотелось побольнее задеть это хилое тело, посмевшее у меня на глазах любить На-



Казалось, мы с места никак не съедем. Лишь когда поезд тронулся, а вагон дернулся и поплыл, у меня отлегло от сердца. Я спросил две постели и, пока Наташа раскладывалась, я покуривал, примостившись в сторонке, и поглядывал на неё.

Вагон мотало и подбрасывало, а Наташа легко и проворно, будто всегда занималась, вправляла подушки в наволоки с линиями штемпелями. В её приготовлениях сквозило такое спокойствие, что я сказал, нагибаясь к её склоненной фигуре:

— Наташа, — сказал я, — Наташа, давай поженимся.

Она хозяйственно подоткнула уголки покрывала и усе-лась напротив меня, поджав одну ножку.

— Ты же знаешь, — сказала она, — Борис не дает развода.

— Всё равно, — настаивал я, — всё равно с этой минуты мы поселимся вместе. Мы начнём крепкую, здоровую семейную жизнь. Давай считать нашу поездку свадебным путешествием. Согласна?..

Наташа ничего не ответила, но, рассеивая подозрения, провела по моим глазам своей лёгкой рукой.

#### 4

Эх, поезд, птица-поезд! кто тебя выдумал? знать у бойкого народа мог ты только родиться! И хоть выдумал тебя не тульский и не ярославский расторопный мужик, а изобрёл, говорят, для пользы дела мудрец-англичанин Стефенсон, уж больно пришлось ты впору по нашей русской равнине и несёшься вскачь по кочкам, по пригоркам, по телеграфным столбам, и замедляешь и убыстряешь движение, пока не зарябит тебе в очи. А приглядеться — печь на колёсах, деревенский самовар с прицепом. Сердитый на взгляд, но добрый, великодушный, кудрявый. Пыхтит себе, отдувается и прёт на рожон, куда ни попросишь, только ухнет для острастки, да как свистнет в два пальца, заломив шапку на затылок, этаким фертом, этаким чортом, этаким чорт-те каким, сам не знает, гоголем: дескать, помни наших, не то раздавлю! чем мы хуже других?!

Вот и станция. Ошалелые бабы, увешанные детишками и сундуками, лезут под колёса. Пужливые торговки, дую в кулаки, продают картофель, укутанный в тряпки, вкусный, ещё тёпленький, огурцы, курятину и стреляют глазами, опасаясь гонений, властей, облавы, поборов. Безногий калека, отталкиваясь руками, в морской тельняшке, с

кепкой в зубах, скачкообразно передвигается по вагону. Кипяток. Буфет с пряниками. Надпись «1-ое мая», сохраненная с прошлогодней весны, выцветшая за сезон. Осталась одна минута. Начальник станции в багряном околыше рассказывает по платформе, такой всегда строгий, зоркий, поджарый, высушенный на транспорте, в угаре, в передрагтах с товарняком.

Не успели заметить, как поехали. Замелькали бабы, детишки, лозунги, сундуки, последний домишко с последним тряпьем, прохладяющимся на заборе, и вот мы вновь мчимся одни по ледяной пустыне, в грохоте, в треске, в пороховом дыму, огибая окрестность, обскакивая на полном ходу другие народы и государства..

Я проснулся от холода, за Ярославлем. Вагон мелко дрожал доброй хорошей рысью. Наташа ещё спала, свернувшись калачиком, а я протёр стекла и, удобно подперев подбородок, уставился с верхней полки на проезжий пейзаж.

Мы ехали белым лесом, без единого пятнышка, и если вчера в Москве нас одолевала распутица, то здесь царил крепкая правильная зима и было чисто, как в церкви накануне большого праздника. Деревья, покрытые инеем и облепленные снегом, были прекрасны. Они имели видимость фиговых и кокосовых пальм и бананов, какие растут, наверное, только в Индии или в Бразилии, и уж никак не подходят к нашей скудоумной природе. И то, что она, природа, вдруг расщедрилась на эти богатства, неизвестно откуда взявшиеся, заставило меня вспомнить о каменноугольном периоде, когда и у нас в России, как доказывает наука, имелась своя — не хуже бразильской — тропическая растительность, которую мы теперь под видом антрацита сжигаем и пускаем в трубу.

Но раздумье об этой утрате древовидных папоротников и хвощей не ввергло меня в уныние и безысходный пессимизм. Трубочатые стволы, и перистые опахала, и веера, и звёзды, и вензеля, и перстни, сторая дотла в паровозе, возвращались к нам обратно — выполненные из снега — по обеим сторонам железнодорожного полотна. Они возникали, не успев исчезнуть, и хотя они были немного не такими, было в их основе что-то такое, такое хрустальное и божественно-твердое, что сообщало всем этим жиденьким берёзкам да ёлкам неизгладимый папоротниковый отпечаток.

Значит, рассуждая логически, ничто не гибнет в природе, но всё укореняется одно в другом, отпечатывается,

затвердевает. Значит, и мы, люди, сохраняем в подвижном лице, в разных привычках, капризах и в капризных улыбках — затвердевшие признаки всех тех, кто жил когда-то в наших трубчатых душах, как в катакомбах, как в норах, и оставил нам на память останки своих заселений.

Эта мысль ещё недавно бросала меня в дрожь. Моё миниатюрное «я» эгоистически сопротивлялось пришельцам, которые, подобно вшам, неожиданно-негаданно, завелись у меня в голове и грозили полным расстройством всей моей центральной системы. Но сейчас — перед лицом природы, обнаруживающей порядок и стройность, — это присутствие посторонних существ только тешило и забавляло меня и приводило к сознанию моей глубины, силы и внутренней полноценности. Всё, что ни лезло в голову, я обдумывал на ходу, лежа на верхней полке животом вниз, и прикидывал так и эдак мои наблюдения над жизнью и подкладывал под них прочный философский фундамент.

Удивительно, как это так наука до сих пор не открыла и не доказала вполне научно и логично — переселение душ. А примеры — на каждом шагу. Возьмём, чтоб далеко не итти, шестипалых младенцев. Родится ребёнок, а у него взамен пятерни — шестерня. Спрашивается: откуда взялся лишний мизинец? Медицина — бессильна. А если вдуматься, пораскинуть мозгами? Ведь ясно же — это тот, посторонний, запятанный, кто давно уже умер, решил заявить о себе и, воспользовавшись удачным моментом, просунул в чужую ладонь дополнительный палец. Дескать, здесь я, здесь! сижу и скучаю и хочется мне хотя бы одним пальчиком на Божьем свете вильнуть.

Опять же — сумасшедшие. Какая дальновидность прозрений! Ходит — надменный — и всем говорит: «— Я — Юлий Цезарь». И никто ему не верит. Никто не верит, а я — верю. Верю, потому что знаю: был он Юлием Цезарем. Ну, может, не самим Цезарем, но каким-нибудь другим, тоже выдающимся полководцем бывать ему приходилось. Просто немного запамятовал — кем, когда, какого рода войск...

Но к чему непременно брать сумасшедшие крайности? Разве любой из нас — самый смиренный, застенчивый, напуганный жизнью товарищ — не чувствовал иногда прилив храбрости, вдохновения, государственного ума? То-то и оно! Быть может, это Хлодвиг или Байрон пробудился в нас на секунду. А мы живём и не знаем...

А может, это был сам Леонардо да Винчи?!...

Я не настаиваю на Леонардо. Я делаю допущение. Мне

принцип важен, а не Леонардо да Винчи. И совсем не о себе я пекусь. Мне лично — хватает: Грета, Степан Алексеевич — тот самый, что подстрелил глухаря... Или невинный ребёнок Митя Дятлов, умерший восьми лет от роду на рубеже 30-ых годов... Всех не перечесть... А всё ж таки было б недурственно в дополнение к Мите и Грете заполучить какого-нибудь, ну, на худой конец, Байрона, что ли... Приятно это — чорт побери! — пройтись по Цветному бульвару этаким чортом, этаким лордом Байроном, раскидывая по сторонам этаким, не совсем обычным, байроническим взгляд!..

Затем, вслед за историей, мне припомнились другие предметы, какие мы изучали в школе: география, зоология... Человеческий эмбрион, говорят, претерпевает — стадии. Сперва — рыба, потом, кажется, земноводное, потом постепенно дорастает до обезьяньего сходства... Так вон оно что! И рыбам и даже лягушкам дана в моем теле некоторая возможность попрыгать, побегать, себя показать, людей посмотреть. Только — видать по всему — не досказал до конца наш старенький школьный учитель, что не какие-то отвлечённые стадии проходил мой организм в бытность глупым зародышем, по частям формируясь в родной материнской утробе. А совершенно конкретный, живой, неповторимый карась был моим близнецом и, так сказать, совместителем в эти золотые часы — тот самый, верно, карась, что плавал в реке Амазонке 18 миллионов лет тому назад. Остальные же рыбки — каждая в отдельности — разместились в других моих современниках. Вот оно как всё получилось и образовалось.

Так по ходу поезда выростала моя теория, единственно, быть может, способная насытить образованный ум. Подперев себя изнутри каркасом железных выводов, я лежал на верхней полке и грезил о бесконечности, о бессмертии и равноправии. Потому что теперь я твердо знал: никто из нас не исчезнет и, как сказано в одной песне, — «никогда и нигде не пропадет». Просто мы переедем в другую, возможно, еще более комфортабельную квартиру. Всем скопом переедем. Вместе с Митей Дятловым, и Гретой, и Степаном Алексеевичем, и рыбкой. Байрона бы только не забыть!

Мы разместимся внутри какого-нибудь просторного будущего гражданина. И мне думается, гражданин — не останется к нам безразличным. Он будет чутким, вежливым, передовым человеком, да и наука в те прогрессивные времена обо всём ему подробно расскажет. И вот, сидя у

окна, в тихий летний вечер, он почувствует вдруг в душе беспокойное копошение. Какие-то внезапные настроения прольются из его сердца и фантастические идеи осенят его усталую голову. Сначала он удивится, смутится, а потом вспомнит о переселенцах и скажет:

— А, это ты, дружище?! Узнаю тебя. Как поживаешь? Передавай привет Хлодвигу и Леонардо да Винчи!

О вы, человек будущего! обратите на меня внимание! Не забудьте вспомнить обо мне в тот тихий летний вечер. Смотрите — я улыбаюсь вам, я улыбаюсь в вас, я улыбаюсь вами. Разве умер я, а не дышу ещё в каждом трепете вашей руки?!

Вот он я! Вы думаете — меня нет? Вы думаете — я исчез навеки? Остановитесь! Умершие люди поют в вашем теле, умершие души гудят в ваших нервах. Прислушайтесь! Так жужжат пчелы в улье, так звучат телеграфные провода, разнося вести по свету. Мы тоже были людьми, тоже плакали и смеялись. Так оглянитесь же на нас!

Не по злобе, не из зависти, а только из чувства дружбы и солидарности мне хочется предупредить вас: вы тоже умрете. И вы придёте к нам, как равный к равным, и мы полетим дальше, дальше, в неведомые времена и пространства!.. Я обещаю вам это.

...За такими рассуждениями я совсем позабыл о Наташе. То есть не то, чтобы позабыл, а я перестал о ней много думать и беспокоиться и только бессознательно помнил, что она едет рядом, оставаясь неизменно той, какой она всегда была для меня — моей прекрасной Наташей и никем больше. И хотя я мог допустить чисто умозрительно, что у неё внутри тоже кто-нибудь есть, мне почему-то не хотелось ничего знать об этом и я не допускал мысли о такой вероятности. Моя разгнuzданная фантазия сохраняла её нетронутой, вечной, единственной и неделимой Наташей, суеверно обходя стороною это деликатное место. Даже строя планы нашей счастливой жизни, я не слишком их уточнял и детализировал и старался не забегать дальше той минуты, когда Наташа проснется и позовет меня завтракать.

До чего же это приятно — ты завтракаешь, а тебя везут! И что бы ты ни делал — ты едешь! Смотришь в окно — и едешь, отвернешься — всё равно едешь. Читаешь, куришь, ковыряешь в зубах — и тем не менее продолжаешь ехать всё дальше, дальше, и ни одна минута твоей жизни не пропадает.

А эти милые паровозные чудеса в решетке! Плеватель-

ницы, привинченные к полу; загнутые ручки у двери (нажмешь — она открывается!); зябкий, немного волнующий ветерок из уборной; слабенький, но уваристый, слегка прогорклый чай!..

Чтобы согреться и приподнять ещё выше своё счастливое настроение, я выпил стакан вина и закусил. Наташа не могла удивиться моему аппетиту. Я кушал за семерых.

Нет, я не был так уж голоден, но испытывал — впервые в жизни — странную потребность — глотать. Не столько есть, сколько — глотать, проглатывать. Будто вместе со мною кормилась группа детей разного возраста, и я мысленно приговаривал, опуская в горло куски: «— Это — тебе, это — мне, это — тебе. А вот это — мне...»

Мне хотелось быть со всеми одинаково справедливым. Даже тому темнокожему, сморщенному старикашке, который за что-то невзлюбил меня с первого взгляда, я бросил сухой колбасный огрызок, говоря: «Ешь, да помалкивай!»

Но особенное расположение, если не сказать — любовь, я чувствовал к Мите Дятлову. Ещё бы — совсем дитя, сирота, шустренький такой, игривый. Всё просил у меня винца попробовать. Я, конечно, отказывал: ещё маленький. Тогда он что, безобразник, выкинул! Разложила Наташа конфетки к чаю, а он подсмотрел, да как закричит:

— Дай мне! дай мне! мне! мне! — закричал я не своим, каким-то детским, писклявым голосом и схватил со стола сразу три штуки.

Наташа неуверенно засмеялась. Но я взял себя в руки и всё обратил в шутку. А Митька за своё безобразие был наказан. Конфетки я отдал другому, уж не скажу точно какому выкормышу, — быть может, моему первенцу, тихому первобытному увальню, что перед самым Новым годом перетрусил встречи с троллейбусом. Он высосал их с благодарностью, урча как медвежонок...

— Наташа, — сказал я, немного подумав. — Ты во мне не замечаешь ничего особенного?

— Что ты имеешь в виду? — спросила Наташа и посмотрела так, как если бы это я что-нибудь в ней обнаружил.

— Нет, ничего... Но тебе не кажется, что я какой-то более толстый?.. Толще, чем всегда...

И я обвел руками воображаемую фигуру, стремясь лучше выразить мою внутреннюю полноту...

— Ты всё всегда придумываешь, когда выпьешь, — сказала Наташа обеспокоенным тоном, и я понял, что сейчас она спросит о моем отношении...

— А ты меня не разлюбил? — спросила Наташа.

— Нет-нет! В отношениях к тебе у меня ничего не изменилось.

— Как ты сказал?

— Я говорю — в отношениях к тебе у меня всё в порядке, — повторил я раздраженно и пожалел, что затеял с нею этот разговор.

Ведь стоит заговорить или подумать о чем-нибудь, как сразу все начинается. Я давно это заметил. Быть может, мои предсказания только потому сбываются, что когда всё известно — деваться некуда, и если бы мы не знали заранее, что должно с нами случиться, ничего бы не случилось...

— Наташа! — воскликнул я умоляющим голосом. — Я люблю тебя, Наташа! Я люблю тебя больше, чем прежде! Я никогда, никогда тебя не покину!

И я намеревался обнять её и прервать весь разговор долгими поцелуями, потому что в нашем купе мы ехали одни и могли целоваться сколько угодно, ни о чем не волнуясь.

— погоди! — сказала Наташа и вытерла губы. — Ах, если б ты знал!.. Я должна тебе рассказать одну вещь...

— Ничего не надо рассказывать... Я сам всё знаю. Посмотри лучше туда — какой домик мы проезжаем. Дивный домик. С крышей, с трубой, а из трубы — дым. Вот бы нам с тобою жить в таком домике. Ходить на лыжах — за хлебом, за керосином. Пока дети не подрастут. Сын или дочь — кого захочется. Лично я, например, вполне созрел для отцовства. Во мне пробудилось то самое, что бывает, наверное, у беременной женщины...

Но она не поняла меня и даже не посмотрела на домик, который мы уже проехали. Ей не терпелось облегчить душу и рассказать по совести всё то, что мне без её признаний было отлично известно и о чем нам следовало молчать, чтобы не накликать беды. Уж если сам я ни разу не попрекнул её ничем и сдержал ревнивые чувства и даже, в какой-то мере, ограничил свои способности — лишь бы сохранить в целостности её жизнь и здоровье, — то она-то могла бы тоже сколько-нибудь подождать с этим делом и не говорить мне ничего о своей связи с Борисом.

Да и что нового могла она мне сообщить? Она сказала только, преуменьшая размеры, что однажды, под влиянием настроения, зашла с Борисом немного дальше, чем он того заслуживал, и теперь жестоко раскаивается в этом поступке. Но сказанных ею, робких, со слезами в голосе, слов было

достаточно, чтобы раздражить мои мысли и направить их внимание в эту сторону. Едва лишь было произнесено имя Бориса, как я подумал, что он, конечно, не оставил нас без последствий и в любую минуту надо ждать погони. Со вчерашнего вечера он успел развить скорость и заявить на меня в какое-нибудь государственное учреждение, которое не преминет вмешаться и всё испортить. И как только я подумал об этом, мне стало ясно, что беды не миновать и она уже где-то здесь, по соседству, приготовила нам сюрприз, и что сам я об этом давно знаю, но храброюсь и делаю вид, что всё в порядке.

— Пожалуйста, ничего не думай, — говорила Наташа, трясая у меня на груди. — Я люблю тебя и ненавижу Бориса. Но кажется — я беременна, не знаю от кого. Поступай, как знаешь...

Господи! Этого ещё не хватало! Ну, какое мне дело до её пачкотни с Борисом! Не всё ли равно — от меня, от него ли? Да разве не собирался я сам намекнуть ей в облегчение, что готов взять на себя любую беременность? — только бы она ничего не говорила мне о Борисе и не привлекала внимание тех четырёх военных, что ходят из вагона в вагон и просматривают документы.

Видать, они сели в поезд уже за Ярославлем и, обсле- дуя проезжую публику, медленно двигались к нам. Теперь нас отделяло всего три вагона, и хотя на таком расстоянии я ничего не мог разобрать, мне было понятно и так, кого они разыскивают и какого рода инструкция лежит в на- грудном кармане самого главного из них — по фамилии почему-то Сысоев.

А с другого конца, по ходу поезда — я только что это заметил — двигалась вторая четверка, навстречу первой, прочёсывая пассажиров. Мы были в центре. Они приближались к нам с двух концов.

— Ах, Наташа! Да перестань ты плакать! Всё это сущие пустяки. Скажи лучше — зачем ты позвонила Борису перед самым нашим отъездом? Ты сказала ему номер вагона? Нет? Ну, и то хорошо.

Объясняться с нею — не было времени. Я был как-то растерян, рассеян. Все мои противоречивые чувства — все дармоеды, ехавшие со мною по одному билету, — вдруг всполошились и потащили в разные стороны. Одни — вероятно, бывшие женщины — убеждали расстаться с Наташей, да поскорее, чего путаться с этой дрянью, сам спасайся, пока не поздно. Другие больше всего жалели зря

потраченных денег, которые надо вернуть через месяц. А кто-то посоветовал оказать вооруженное сопротивление.

Кто это был — я так и не понял. Степан Алексеевич со своими дворянскими замашками? индеец, ушедший под воду, не выпустив скальп изо рта? или какой-нибудь ещё не опознанный неизвестный солдат, похороненный во мне рядом с трусостью и крохоборством? Милый, милый, навивный неизвестный солдат!..

Но заручившись его моральной и физической помощью, я мигом усмирил вшивую толпу подстрекателей. «— Цыц, сволочи! всех перевешаю!» — пробормотал я сквозь зубы. И когда они смолкли и пришипилась — стало слышно, как стучат колеса и скрипят деревянные перегородки, заглушая скрип сапог и отдаленный говор тех, кто искал меня по всему поезду.

Тогда я сказал Наташе, что пора вылезать, и она не спросила, как мы вылезем — ведь мы мчались по снежной равнине, а только спросила — а как чемоданы? и я схватил её за руку и потянул по вагону. В тамбуре, на наше счастье, не было ни души и дверь на волю, как я предвидел, не была заперта, хотя обычно её запирают, чтобы никто не выпрыгнул и не расшибся. Холодный ветер, сдобренный снегом, ударил нам в глаза.

— Прыгай, прыгай! — кричал я Наташе, перекрикивая грохот колес. — Сугробы — не разобьешься. Я ручаюсь. Прыгай, тебе говорят!..

Но она боялась прыгать с такой высоты и на такой сильной скорости, потому что не знала, что бояться ей нечего и тут она застрахована и может прыгать сколько угодно — всё равно ничего не будет. Я бы соскочил первым, чтобы подать ей пример, но опасался, что соскочу, а она уедет и я уж ничем не смогу ей помочь.

Четверо военных шарили в нашем вагоне и приближались к тамбуру. Я начал выталкивать Наташу и бить её по рукам, говоря, чтобы она прыгала, не задерживаясь, а Наташа не верила, и цеплялась руками, и зачем-то твердила, чтобы я не выбрасывал её на ходу и что у неё с Борисом нет ничего общего.

Может быть, мне удалось бы вытолкнуть её и самому прыгнуть в последний момент, но те, что ловили меня по доносу Бориса, уже ворвались к нам и окружили нас в одну секунду. Посыпались приказы, вопросы: кто такие, что здесь делаем и почему отворена дверь? Я отвечал, что мы вышли подышать воздухом, потому что моей жене сделалось нехорошо.

Наташа вся дрожала. Она никак не могла отделаться от странного впечатления, что я собирался — будто бы — столкнуть её под колёса. Но всё же она подтвердила, что мы дышали воздухом, и я оценил ещё раз её благородство... Впрочем, сейчас всё это не имело значения. Меня опознали.

— Вы задержаны, прошу вас проследовать за мной, — сказал тот, кого звали Сысоевым. Он сунул мой паспорт в свой нагрудный карман и протянул бумагу, которую я не стал читать. Мне чудилось, что всё это уже бывало со мною и даже бурки Сысоева, отличные офицерские бурки, мне где-то раньше попадались. Никогда не видал я ни Сысоева, ни его беленьких бурок, а просто мог бы про всё сказать: так я и знал! так оно всё и представлялось мне с самого начала!

Самое грустное было то, что Наташу не арестовали. Её отпускали без меня на все четыре стороны, и она, намереваясь вернуться в Москву, плакала третьими или четвертыми за сегодняшнее утро слезами.

— Ты не думай, — говорила Наташа, — я не вернусь к Борису. Я буду ждать тебя. Тебя скоро выпустят. Это ошибка. Я уверена, ты не думай...

Потом нас высадили на первой же станции. Утро было сухим и морозным. Полпоезда сбежалось смотреть, кого поймали. Баба в тулупе крестилась на меня, будто на мертвеца. Восемь военных гордо и почтительно меня сопровождали, словно знатного иностранца. Из них по крайней мере четверо сжимали незаметно в карманах рубчатые рукоятки наганов.

— Можете попрощаться с вашей подругой, — сказал Сысоев. — А вам, гражданочка, рекомендую отдохнуть на вокзале. Обратный поезд пойдет только вечером.

Я обнял Наташу и произнес внятно и тихо — последнее, что мог произнести в эту решительную минуту:

— Наташа! — сказал я. — Ты можешь думать про меня всё, что хочешь. Считай меня, если хочешь, безумцем, но помни одно: когда вернешься домой — не вздумай ходить в Гнездниковский. Такой переулочек, возле площади Пушкина, улицы Горького. Не заглядывай туда ни под каким видом. Особенно воздержись — в воскресенье, девятнадцатого января. Запомни: девятнадцатого! через четыре дня. В десять утра. Сиди дома. В крайнем случае, если пойдешь к Борису... Не качай головой, я знаю. Девятнадцатого — воскресенье, и тебе может случайно захотеться пойти к Борису. Что ж тут такого! Ничего особенного.

Я не возражаю. Но только не ходи по Гнездиновскому переулку. Совсем не по пути. К тому же ты опоздаешь, если пойдешь в Гнездиновский. Вы же привыкли — с десяти. До половины одиннадцатого. Вот и хорошо. Найдется занятие. Не заметите, как время пройдет. Хоть до двенадцати. Сейчас — не важно. Главное — запомни: Гнездиновский... двенадцатого... в десять утра...

И как только я высказал эту мысль, точившую меня непрерывно все это время, я понял, что не должен был её говорить. Не скажи я Наташе — ей бы, может, никогда и в голову не пришло туда ходить, а теперь я первый всё подготовил и обозначил и уже ничего нельзя отменить и переделать.

— Какой Гнездиновский? — сказала Наташа. — Чего ты от меня хочешь? Не бывала я ни в каком Гнездиновском!..

Я только махнул рукой и, сощурившись от злости и боли, крикнул своей охране:

— Пошли!

Пройдя шагов пятьдесят, я обернулся. Наташа стояла на том же месте, но выражение её лица я не сумел разглядеть. Её голова была от меня отрезана железнодорожным мостом... Зато вся остальная, нижняя часть Наташи, начиная от груди, была на виду. Её талия сохраняла былую стройность и ничуть не потолстела. Лишь в самой сердцевине, крепкой и чистой как хрусталь, виднелось темное пятнышко.

«— Что бы это могло означать? — размышлял я про себя. — Почему гнилое пятнышко, занесенное Борисом, не растет и не развивается по законам природы? Ведь я согласен усыновить будущее дитя, я на всё согласен... Почему же оно не покажется хотя бы в образе рыбки и не помашет мне на прощанье своей будущей ручкой?..»

Но сколько я ни старался — пятно не выросло в размере и не принимало желанного образа. Оно оставалось таким же темным, пока у меня от усилия не помутилось в глазах.

— Где же ваш вертолет? — сказал я Сысоеву, почтиительно переживавшему моё горе. — Вечно вы запаздываете, капитан Сысоев...

— Через полчаса прибудет! — отвечал Сысоев и вдруг, щелкнув бурками, сделал под козырек.

Я попал в руки полковнику Тарасову. Знакомство с этим чудесным и простым человеком началось с того, что он повертел в воздухе запертым портсигаром с «Тремя богатырями» на крышке и весело гаркнул:

— А ну! Быстро! Считать умеешь? Сколько штук?

Полагая, что его занимают русские богатыри Васнецова, я рассеянно отвечал, что здесь выдавлено ровным счетом три человека, сидящие на трех лошадях.

— Сколько сигарет — я спрашиваю! — взревел полковник Тарасов, и тогда я догадался, какие проблемы его волнуют, и назвал — теперь уж точно не помню — число сигарет, наполняющих его богатырский давленный портсигар.

Проверив мое умение ориентироваться в пространстве и видеть предметы сквозь покрытие толщиной в 5 миллиметров, полковник перешел к измерениям во времени. Он прицелился мне в лицо из хорошего браунинга и спросил, через сколько секунд я ожидаю выстрела.

Эта шутка рассмешила меня, и, раскачиваясь на стуле, я смеялся до тех пор, пока его рука, утяжеленная браунингом, не затекла, а глаз полковника не подернулся кровеносной пленкой — от непрерывных стараний удержать на прицеле моё качающееся лицо. Затем я сказал:

— Во-первых, дорогой полковник, браунинг у вас не заряжен. Во-вторых, за мою персону вы отвечаете головой и не захотите её пожертвовать ради чистого опыта. А, в-третьих, — добавил я, — вы немедленно спрячете ваше оружие в стол и будете со мной разговаривать другим языком. Иначе я отказываюсь поддерживать деловое сотрудничество, которое, насколько мне известно, вы имеете предложить...

Полковник обиженно хмыкнул, убрал револьвер в стол и перешел со мною на «вы». Так мы стали друзьями.

У меня не было причин скрывать от полковника мою психическую организацию, превышающую лимиты среднего человека. К тому же имелась полная опись всех отгадок и предсказаний, произведенных мною публично в новогоднюю ночь и собранных воедино Борисом в пространное донесение. Этот документ, проверенный путем опроса свидетелей и послуживший основанием к задержанию моей личности — «годной приносить пользу в обороне государства», — поступил по инстанциям к полковнику Тарасову

для дальнейшего с его стороны разбирательства и применения.

Я не хотел заниматься рекламой и строить из себя какого-то чудотворца, но помочь полковнику в его стратегии считал своим гражданским долгом. И могу отметить без ложной скромности, что за краткое время моей работы я кое-что сделал для пользы народа и всего миролюбивого человечества. Так, например, мною было расшифровано несколько таинственных телеграмм, посланных заезжим корреспондентом в одну официозную газетенку. А также я за сутки до срока предсказал падение одного кабинета в одной незначительной иностранной державе, чем помог нашей дипломатии произвести заблаговременные авансы... Касаться подробнее моих изысканий я не нахожу возможным по причине их полной и совершенной секретности. Скажу только: да! были дела! и мой труд не потрачен даром! и моя есть доля в нашем общем деле!..

В первое время мой шеф был очень доволен таким успехом и, чувствуя ко мне душевное расположение, говаривал:

— Вы далеко пойдёте. Через недельку-другую — глядишь — мы с вами откроем какой-нибудь крупный заговор. Что-то давно не бывало заговоров... И следствие — при вашем участии — не затянется... Сразу всех выудим!..

Меня эти планы мало прельщали — не потому, что я сочувствовал заговорщикам, а просто по интеллигентской привычке считал не вполне для себя удобным вылавливать людей и проводить дознание с помощью телепатии и ясновидения. Мне всегда казалось, что в поимке преступника должен присутствовать элемент романтики и спортивного, я бы сказал, состязания. В противном случае разведка и розыск превратятся в заготовительное предприятие и потеряют весь блеск и притягательность для нашего юношества. Кроме того мне было памятно, как меня самого недавно ловили, и я не спешил обнадеживать шефа в его дальних замыслах.

— Подождите, полковник. Моя осведомленность тоже имеет предел. Боюсь, шпионы не подойдут... Уж очень раскиданы, трудно учесть... Их, шпионов, среди населения, небось, один на целую сотню. И того хуже, и того меньше. Совсем слабый процент.

— А ты напрягись! Все силы! Ведь родина-мать смотрит. Требуется надежда. Одевает, кормит... Бесплатное обучение. Детские сады, ясли. Изба-читальня. Для родной

матери, не для кого-нибудь. Если прикажет родина-мать, мать твою родину! Всех вас! Ведь, эх! себя не пожалею!..

Глаза полковника увлажнились. Он рвал крюки на груди и скрежетал зубами. А я, слушая эти речи, чувствовал себя пристыженным.

В самом деле мне были созданы все условия, о каких только можно мечтать в тюремной практике. Мягкая мебель. Абажур с кистями. Персональная ванна. Четыре молодых человека — в чине лейтенанта, не меньше, — стерегли мой покой и выполняли попутно обязанности горничной, секретаря, судомойки и парикмахера. Курьеры, дежурившие круглосуточно, были готовы по первому знаку устремиться в архивы, библиотеки, фототеки и доставить любой раритет, имеющий для меня хоть какое-то небольшое вспомогательное значение.

А кормили меня как в ресторане. Обед всегда из трех блюд. Кофе с ликером. Правда, в коньяке была ограниченность: не больше бутылки на день. Но когда полковник Тарасов захаживал ко мне поболтать — не допрашивать или выпытывать, а просто так, после трудов, посидеть вдвоем, по-домашнему, — порцию увеличивали. Полковник справедливо считал, что коньяк повышает чувствительность и способствует моему развитию в сильную сторону.

Помню, в первый же вечер мы засиделись с ним допоздна за «Аралом». В полночь он приказал подать географический атлас и просил меня погадать на картах. И хотя я говорил, что это не моя компетенция, полковник настаивал на своем и сам попытался внести ясность в международную обстановку.

Он с легкостью форсировал реки, переваливал через хребты и размечал ногтем по карте пути всемирной истории — на начало десятилетий вперед. Сначала всё шло хорошо. Европу мы обезвредили. Но его почему-то тянуло к югу, в горы, за Арарат и Гибралтар. Я едва поспевал за ним и, запутавшись в дислокациях, перестал понимать, кто с кем воюет... На миг мне удалось, подтолкнув полковничий локоть, выравнять положение: стремительным маршброском мы вышли к морю.

Это было уже за экватором, пятьдесят лет спустя, и полковник, полагаясь на негритянские подкрепления, намеревался высадить десант — прямо в Австралию.

— Да вы с ума сошли! Во-первых, мы не здесь, а вот здесь. Уберите палец. Потом, полковник, вы забываете Мадагаскар. Там японцы. Куда вы тычете? Сюда нельзя.

Проиграем кампанию! Нельзя, вам говорят. В конце концов, мне лучше знать, как это будет...

Он кинул на меня слезящийся взгляд и прохрипел:

— А как же Австралия?..

— При чем тут Австралия?!

— Что ж мы Австралию — псу под хвост?

— Ну, знаете, не всё сразу. Когда-нибудь при другой вакансии дойдет черед Австралии. На более высоком этапе исторического развития...

Полковник на локтях пополз ко мне через стол:

— Голубчик, нельзя ли ускорить? Хоть немного...

— Что ускорить?

— Ну, развитие это самое... Чего с ним долго возиться! Напрягись! Ну, для меня, не в службу, а в дружбу. Прошу тебя по-товарищески — будь ты человеком, посодействуй Австралии...

Он кажется путал меня с Господом Богом. Но если был я в малой мере всезнающим, то уж всемогущества мне за это нисколько не полагалось. Да и что я могу? Всё знаю и ничего не могу. И чем больше знаю, тем хуже, тем меньше у меня законных оснований что-то делать и на кого-то надеяться...

Конечно, попадись мне вместо полковника какой-нибудь либеральный доцентик (бывают такие доцентики, дотошные, из евреев), уж он бы жилы из меня вытягивал: где тут свобода воли и какую особую роль играет личность в истории? Но я говорил давеча и еще раз подчеркну: никакой особой роли ваша личность не играет. И какая может быть самостоятельность у человека, когда всё учтено? Встать! — встаю. Ляг! — ложусь. Не хочется ложиться, а ложусь. Потому — закон, историческая неизбежность. Как ни вертись, всё равно в конечном счете лечь придется. И даже если взамен предназначенного мне лежания я попытаюсь потихоньку от всех приподняться и встать, значит — на это тоже было получено разъяснение, и я поступил, как велит мне всемогущая воля.

Не властен я над собой, безволен и равнодушен, как камень. И в светлые минуты жизни прошу об одном: «— Господи! поддержи! не оставь!»! Господи! Я — камень в твоей руке... Напрягись, соберись с силами и кинь этот камень со всей силой в кого захочешь!...»

— Ладно, — сказал полковник, когда я открылся в полной невозможности управлять ходом событий. — Не хочешь Австралию, — давай Новую Зеландию. Небольшие два островка. Раз плюнуть.

Я повторил, сославшись на диалектику, что историю мы не вправе ни улучшать, ни ухудшать: а то выйдет беспорядок и субъективный идеализм.

— Да ведь мы совсем немножко улучшим, — хныкал полковник. — Никто не заметит. Ну, чего тебе стоит?.. По-дружески... Новую-то Зеландию... Голландию освободили, а Зеландию — псу под хвост?

Он не был силен в диалектике, мой полковник Тарасов, но в нем обитала великая, алчущая душа. Быть может, душа Тамерлана, Петра Первого, Фридриха Ницше, — перебирал я тогда в уме различные варианты...

Но при ближайшем рассмотрении всё вышло немного иначе. Полицейские разных званий, стражники, надзиратели выстроились в затылок за спиной моего шефа, когда я заглянул повнимательней в глубину его большого, отяжелевшего тела.

Они уходили объемами во мглу древнейших культур и вылуплялись из мрака в такой строгой последовательности, что вначале мне показались все на одно лицо. Но потом я заметил разницу: каждый позднейший был рангом крупнее своего предшественника. Точно они рождались специально для того, чтобы подняться в течение жизни еще на одну ступень. Последний по времени сослуживец замер в подполковниках при Александре-Освободителе. Ближе его по чину никто не стоял. Вершиной всей эволюции был полковник Тарасов.

Но и самому Тарасову и каждому, кто его подготавливал, приходилось, вступая в историю, начинать сначала и выслуживаться из простейшего дворника, повторяя в своем генезисе все предыдущие стадии многовекового иерархического развития. И не загадывая наперед, можно было предположить, что звание полковника тоже не было венцом их поступательных усилий, а служило лишь пердышкой на пути к новым подъемам...

Перед этой неодолимой потребностью в самосовершенствовании, перед этой слитностью всех действий в один единокорпусный прогресс не устоит — почувствовал я — никакая, в конечном счете, Австралия, никакая Новая Зеландия, не говоря уже о более мелких задачах. И когда полковник Тарасов, прощаясь со мной перед сном, во второй раз и в третий попросил о поддержке в грядущей новозеландской борьбе, моя неуступчивость поколебалась. Я обещал подумать и поискать какой-нибудь выход, позволяющий — не в обиду материалистической диалекти-

ке — ускорить созревание и приобщение к жизни этих оторванных от действительности островов.

— Однако, — сказал я, — мне тоже нужна поддержка в одном тонком деле, касающемся моей незаконной жены, с которой, впрочем, в любую минуту я готов оформить законные отношения.

— Хоть десять жён бери и живи! — закричал Тарасов с таким неподдельным жаром, что мне стало как-то неловко за мою небольшую хитрость. Но дело с Наташей я отложил, чтобы дать полковнику время выспаться и оценить положение более трезво. Сам я тоже порядочно страдал головой от его могучего «Арарата», и, пока не заснул, меня качало, как в колыбели...

...В эту ночь мне приснился сон — из тех, наверное, снов, что имеют для нашей жизни какой-нибудь смысл. Мне привидилось, что я иду по дороге и натываюсь в темноте на военный патруль. Должно быть, мною руководили предосудительные моменты (возможно — я от кого скрывался или сбежал откуда), потому что меня пронизала одна мысль: ну вот, Пушкина расстреляли, и Болдырева расстреляли, и меня, видимо, ждет такая же судьба. Но я не дал себя задержать и проверить документы, а пустился в темноте наутек, хотя они кричали, чтобы я не двигался с места и даже, кажется, стреляли наугад в моем направлении, лентясь, однако, меня далеко преследовать по плохой дороге.

Пару раз я споткнулся и крепко приложился о землю, но ничего — встал и пошел себе дальше, радуясь, что так удачно избежал объяснений с военным трибуналом. Мое тело легко и плавно перемещалось вдоль изгородей, которые намекали, что скоро я вернусь домой и увижусь со всеми, кого давно не видал. Но я не пошел домой, а решил заглянуть сначала к одной своей знакомой и быстро очутился у ее окна, взобравшись на балкончик без шума, даже не потревожив спящей внизу собаки.

Наташа была одна и при свете настольной лампы читала книгу, и — помню — во сне я подумал, что мои опасения, значит, были напрасны, раз она приснилась мне в таком чудном виде. А также мне сделалось вдруг интересно, какую книгу она читает, потому что в свое время, еще до войны, я направлял ее вусы и дарил — к неудовольствию моей жены — стихи Пушкина и Болдырева. Но теперь у нее на коленях лежал мой собственный — сильно потрепанный — экземпляр одной старинной повести — «Распутица» или, кажется, «Сумятица», приобретенный

мною еще до войны для полноты собрания и принадлежащий перу какого-то древнего автора — пушкинских примерно времен. Надо бы перечесть, плохо помню... может быть, что-то полезное или занятное... но неужто Наташа все еще пользуется моей домашней библиотекой? — подумал я и еле слышно торкнулся в раму.

Окно было затворено — для того вероятно, чтобы бабочки, жуки и разные мошки не набивались в комнату из темного сада. Но они в небольшом числе всё же проникли, и вертелись у лампы, и ударялись в стеклянный колпак, оставляя на нем слабое белесое опыление. По временам Наташа, отрываясь от книги, стряхивала страницы и смотрела в окно, ничего, конечно, не различая в такой темноте. Её взгляд выражал ожидание и пустоту неустроенной женщины, а меня тоже томило чувство невыполненных по отношению к ней обязательств, которым, наконец, пришел срок исполниться. Но барабаня по стеклу, я видел, что Наташа не трогалась с места, принимая, должно быть, мои призывы за надоедливую суету насекомых. Тогда, бессильный побороть трескотню их потрепанных крыльев, я решил, что, наверное, это потому, что всё происходит во сне и мой лепет и сонное царпанье по стеклу не достигают Наташи. И отложив наше свиданье, я спустился с балкона и пошел к себе домой — прямо через сад, по траве, кишашей кузнечиками, на другой край поселка...

Собака, которую мы с женой обычно держали в конуре, опять не залаяла при моем приближении, и я подумал, уже не сдохла ли без меня собака, да и цел ли мой дом и здоровы ли дети. Но вроде всё было по-старому и в нижнем этаже, на кухне, служившей одновременно столовой, горел свет. За длинным пустым столом сидели мама, папа, дядя Гриша и тетя Соня и другие родственники и знакомые, которых я никак не думал встретить в своем доме. Все они точно ждали моего появления и сидели в молчании, выпростав на обеденный стол пустые тяжелые руки, и, едва я вошел, подняли головы, и кто-то, кажется дядя Гриша, сказал:

— А вот и Василий...

При чем здесь Василий? за кого меня принимают? — пронеслось в моем уме и тут же улеглось: ну, конечно, правильно, Василий! как же иначе?

Но что-то недоброе чуялось мне в этом семейном совете, и я спросил, почему не видно моих детей и жены.

— Только ты, пожалуйста, не волнуйся, — сказала мама.

— Умерли, заболели? Их увезли?

— Нет, нет, все живы, на свободе и хорошо себя чувствуют... А Женечка стала совсем большая, совсем большая...

Она спешила унять мое волнение, которое только возрастало в результате маминой спешки.

— Куда они делись? почему не с вами? Отвечайте же, наконец!..

— Они здесь... Неподалеку.. Поехали в город... Скоро вернутся...

— Перестань, Лизавета! — сказал отец и встал из-за стола. — Василий не маленький. Нечего с ним нянчиться. Ему надо знать!

— Нет-нет, погоди, пускай немного привыкнет, — суетилась мама.

Но отец грубо отстранил ее и, не глядя на меня, буркнул:

— Пойми, Василий, ты же — умер...

Все потупились. Тут только я заметил, что стою и говорю с одними умершими, и вспомнил — ах, да! ведь и папы, и мамы, и дяди Гриши давно уже нет на свете. и хотел уйти, пока не поздно, — попрощаться с Наташей и объяснить ей... Но отец больно стиснул меня за локоть и отвел в сторону.

— Кури! — приказал он, сунув мне под нос истерзанную папиросную пачку.

И тихо, чтобы никто не слышал, добавил:

— Пожалей маму и успокойся. Разве ты не знаешь, что тебя застрелили? Ну да, только что застрелили. Возле поселка. На дороге... Что уставился? Не надо было бегать сломя голову. Сам виноват.

— Но как же Наташа, когда же я встречу с Наташей?! — воскликнул я и проснулся от огорчения.

...До сих пор я не знаю, что означал этот сон, и нужно ли его понимать в каком-нибудь возвышенном, аллегорическом смысле, или мне в самом деле еще предстоит пережить под именем Василия и этот ночной побег, и эту безрезультатную встречу с недоступной Наташей, которая так и не услышит моего запоздалого стука, потому что меня к тому времени успеют застрелить... И при чем тут Пушкин? И кто такой Болдырев? И что за старинную книгу позаимствует Наташа из моей библиотеки, и впрямь ли эта книга называется «Сумятица» или «Распутица», и уж не та ли это самая повесть, которую я пишу сейчас под немного другим заглавием — в надежде, что все мы когда-нибудь всё ж таки еще повстречаемся?..

Но с другой стороны в этом сне было много такого, что вполне объяснимо тогдашним состоянием моего духа и впечатлениями от жизни в темнице. Очень может быть, что просто я — спящий — попытался вырваться на свободу, но мое желание приняло запутанное направление. А может быть — и то и другое, и будущее смешалось с прошедшим, и надо до всего этого сначала дожить, чтобы проверить на практике мои сонные грезы.

Но тогда, под свежим воздействием я об этом не рассуждал. Мысль, что Наташа опять и опять ускользает из моих протянутых рук, меня подхлестывала. На утро я возобновил переговоры с полковником, умоляя его изъять Наташу — хотя бы на сутки — и поместить для безопасности под арест, всего лучше — в мою же камеру, на семейном, так сказать, положении. Понятно, что мне пришлось также ему разъяснить всё, что касалось места и времени подготавливаемого на мою жену покушения, предотвратить каковое — прямой долг и заслуга государственной власти.

Однако, словно стесняясь наших действий за «Араратом», полковник был настроен не в меру рассудительно.

— На каком основании, — сказал он, — вы придаете значение маловажной сосульке? Почему она — второстепенная, случайная в жизни ледяшка — непременно должна поразить вашу Наташу в голову? И непременно послезавтра, да еще в 10 часов... Так не бывает. Я не вижу в этом никакой логики, никакой закономерности. К тому же вы сами говорите — успели предупредить. Зачем вашей Наташе ходить в Гнездиковский? Да еще непременно в тот момент, когда эта сосулька станет на нее падать...

— Ах, полковник, вы не знаете женщин. Ведь пойдет, как пить дать — пойдет. Из одного упрямства. Знает, что нельзя — и пойдет. И потом, какая разница: сосулька или бомба? Бактерия, например, еще меньше по виду. Любая случайность — поймите — неизбежна, неотвратима, чуть стоит ее предсказать. Ведь это же все равно, что вынесение приговора. Сами знаете — трибунал — отмене не подлежит. Одних расстреляют бактериями, других — сосульками. Третьих — при попытке к бегству. Каждому — свое. Между нами говоря, мы все — приговоренные. Только не знаем ни дня, ни часа, ни подробностей исполнения. А я вот — знаю, знаю и беспокоюсь. Ах, если бы не знать!..

Целый час мы с ним спорили и торговались, покауда я уломал его подать рапорт. Полковник никак не хотел без ведома высшей инстанции наложить арест на мою жену

и ждал указаний. Зато последние два дня он не расстался со мною и даже распорядился поставить в моей камере свою походную раскладушку.

Я со своей стороны тоже принял меры: решетчатое окно запечатали дополнительной изоляцией. Все часы по моему настоянию тоже удалили. Мне казалось, что так будет лучше.

Мы пили и работали при одном электричестве и, спугав дневной распорядок, завтракали не то в восемь, не то в одиннадцать вечера. К сожалению, полностью избавиться от ощущения времени я все-таки не сумел и чувствовал, как оно увеличивается от завтрака до обеда, съедая по частям отпущенный мне срок. Также любая сосиска, поданная на закуску, напоминала своим звучанием — сосульку. Я не видел ее отсюда, но живо представлял, какого веса достигли ледяные полипы, образующие эту улитку с вытянутым книзу клювом.

Всего отвратительнее было то, что она имела несерьезный размер и форму, внушающую беспечность. Будь она хоть немного потолще, да поклыкастее, ее бы давно распознали и уничтожили. Полковник дважды по моей просьбе высылал в Гнездиновский команду бойцов противоздушной защиты. Они облазили весь переулочек, но ничего не нашли. А сосулька тем временем продолжала незаметно висеть и давить на мою психику, а Наташа ввали от меня разгуливая на свободе, а рапорт полковника Тарасова тащился по инстанциям безо всякой видимой пользы. Короче говоря, во всем царила наша обычная неразбериха...

Впоследствии я часто задавался вопросом, что было бы, если бы полковник в нарушение субординации, быстрым единоличным решением приказал поместить Наташу под надежную кровлю? Куда бы в таком случае девалась сосулька? В конце концов, все это выглядело чистой нелепицей. Стечение анекдотических обстоятельств, каждое из которых в принципе легко устранимо. Да и моя способность всё на свете предвидеть и предугадывать, послужившая первопричиной всех наших несчастий, не была ли она тоже какой-то ошибкой? Если бы я тогда, на Цветном бульваре, не повздорил с Наташей из-за снега, если бы просто в тот вечер была иная погода, — ведь ничего бы не было. А между тем всё выходило именно так, а не иначе и, сидя взаперти, я ждал конца почти с нетерпением: скорей бы уж что ли! ну, падай же, падай! и отпусти...

Меня терзала мысль, что безжалостная природа в довершение казни покажет мне на прощание эту сцену, которую я сам напророчил и подстроил своими увертками. Дескать, на! — удостоверься, насколько точна и хороша твоя догадливость, и вдруг, расположившись в камере, как в теплом кинематографе, я увижу Наташу, вбитую в снег мелькнувшей стекловидной стрелой, и вот уже дворничиха посыпает песком мокрое место, и толпа неохотно расходится, поглядывая с уважением вверх...

Но всё произошло по другому. Однажды мы сидели и напряженно трудились, когда полковник Тарасов, будто бы в шутку, спросил:

— Как вы полагаете — меня произведут в генералы? Или так и помру в старом звании?..

Впервые за всё это время полковник показал интерес к своей индивидуальной судьбе, и я, конечно, ответил в ободряющем тоне, что с годами он безусловно достигнет генеральского уровня, а, может быть, чего-то послаще и покрупнее. Но отвечая машинально, лишь бы отделаться, я всерьез задумался над этой проблемой и сам не заметил, как перед моим умственным взором встала туманная панорама...

Верно, меня занесло уж очень далеко вперед и, минуя ряд промежуточных ступеней, я увидал землю, которую и землей-то не назовешь, настолько она была заполнена ледяными наслоениями. Впрочем, понятие «льда» мною употребляется с оговоркой и скорее иносказательно, ибо еще не известно, из чего состояли эти сталактиты и сталагмиты, торчащие отовсюду наподобие гигантских сосуллек. Быть может, они возникли из какого-нибудь окаменевшего газа или духа, спрессованного под высоким давлением, и, сидя перед этой картиной, я даже не был уверен, что нахожусь на нашей планете, а не где-нибудь еще в мировом пространстве.

Но каким-то неуловимым чутьем мне было дано постичь со всей определенностью, что это отнюдь не мертвая и не бесформенная природа, а вполне живые, разумные, искусственные существа высочайшей организации. Больше того, ближняя ко мне и как бы руководящая всем ландшафтом сосулька и была ничем иным, как полковником Тарасовым, с той, конечно, разницей, что теперь он имел другой чин и, наверное, другую фамилию и мало чем походил на свою прошлую внешность. Однако в самой структуре и в образе жизни этого ледяного полипа, кото-

рый то покрывался влагой, словно пропотевая, то вновь застывал в скользкие полированные спирали, а главное — непрерывно рос и развивался, и, развиваясь, налезал могучими зубьями на соседние образования, — во всем этом, говорю я, чувствовалось былое упорство и государственный интеллект полковника Тарасова и какая-то даже внутренняя прямота и задушевность.

Прошу не понять меня превратно и не превратить эти слова в какой-нибудь намек с моей стороны, или обман, или, если хотите, фальсификацию исторического процесса, имеющую задней целью бросить косую тень на наше светлое будущее. «— Но позвольте! — воскликнет иной недоверчивый читатель. — Слышанное ли дело, чтобы здоровый человек, да еще в некотором роде государственный деятель выступал на высшей ступени под видом какой-то сосульки? И как же тогда всё это следует понимать, и не есть ли это умаление и очернительство?» Нет, не есть, — отвечу я решительно, и понимать тут ничего не требуется, потому что мне самому пока не вполне понятно, каким образом энергия, управлявшая Тарасовым в его полковничьей жизни, приняла затем такую странную и самобытную форму.

В крайнем случае, во избежание кривотолков, я готов все свои слова взять обратно и рассматривать это диковинное явление как следствие моей личной душевной травмы. Но с другой стороны — с того времени истек достаточный срок, чтобы подойти к вопросу более спокойно и объективно, и я не вижу ничего плохого в том сталактитовом создании, которое, по моему глубокому убеждению, продолжало на новом этапе великую миссию моего шефа и покровителя. И хотя полковник Тарасов давно уволен в запас, так и не получив повышения, обещанный мною титул не был пустозвонством, поскольку я имел в виду более длительную перспективу, превышающую рамки одной человеческой жизни.

Явленная мне тогда титаническая сосулька обладала, я уверен, не менее прогрессивным значением, чем генерал, и даже маршал, и даже если бы у нас был император, она бы, вероятно, и императора превзошла своим умом и развитием, несмотря на отсутствие ярко выраженных знаков воинского достоинства, по которым мы привыкли узнавать наших начальников. Но ведь нужно принять в расчет, что она росла и воспитывалась в совершенно иных, как было сказано, исторических условиях, на другом, можно думать,

планетном шаре, и то, что нам кажется отсюда маловажной сосулькой, там, быть может, и есть самый настоящий венец творения. Во всяком случае будущее полковника Тарасова мне представлялось тогда в высшей степени светлым и перспективным, и я не мог отвести взгляда от его гладкой льдистой поверхности, покрываемой ежесекундно новыми напластованиями...

— Ты чего глаза вылупил? — сказал полковник со своим всегдашним народным юмором.

И как только он произнес эту фразу, сосулька исчезла, будто растаяла или провалилась под стол, и на ее месте, за чернильным прибором, отчетливо выступила грузная мужская фигура, сидящая напротив меня в своем обычном виде. Нет, не в обычном! В том-то и дело, что полковник как-то сразу выцвел, осунулся, словно он, выказав в сосулке все свои силовые возможности, внезапно иссяк и постарел на несколько лет. Я бы даже сказал, что он сделался неузнаваем: пожилой измученный человек в засаленном кителе с вытертыми обшлагами, кое-где оборванными и подправленными неумелой иглой.

Да ведь у него, наверное, где-нибудь есть жена и дети, — подумал я с изумлением, потому что раньше мне никогда в голову не приходило подумать о семейной жизни полковника Тарасова, целиком, казалось, поглощенного общественными заботами. Но мое изумление еще более выросло, когда, попытавшись решить этот простой вопрос, я не смог представить явственно ни жены, ни детей Тарасова, ставшего для меня в один миг какой-то неразрешимой загадкой, хотя она так и лезла наружу всеми своими морщинками, обдряблостями, обшлагами.

— Чего ты на меня всё смотришь и смотришь? — сказал полковник недовольным голосом, пожевываясь как от озноба.

— Скажите, полковник, у вас были когда-нибудь — жена, дети? — спросил я его, чтобы что-нибудь спросить.

Он не успел ответить. Влетевший лейтенант доложил, что полковника срочно просят подойти к телефону. Они быстро ушли, оба чем-то взволнованные, даже позабыв запереть за собою стальную дверь.

При других обстоятельствах я бы мысленно устремился за ними и раньше них был бы в курсе всех секретов. Но сейчас моя голова работала вяло и была как-то пуста, проторна, и мне решительно ничего не хотелось делать. Перегруженный информацией, которая непрерывно посту-

пала ко мне с разных сторон, я слишком много думал всё это время и думал достаточно густо и напряженно, чтобы теперь хоть чуточку посидеть в тишине.

И я сидел и оглядывал служебное помещение. наполненное, еще недавно казалось, таким дорогим убранством, а теперь тоже заметно потускневшее и поскучевшее. Всюду вылезли дырки, соринки, следы сапог, реквизитий, утлая тумбочка из фанеры, диванчик на курьих ножках, под красное дерево, драный, просаленный; с отпечатками пальцев на спинке, с отломанным наполовину, латунным изображением какой-то барышни со стершимся носом — вся та микроскопическая грязнота и мерзость людского быта, которая говорит лишь о долговременном человеческом запустении...

И сейчас все эти выступившие детали ничего мне особенного не говорили, а, глядя на какую-нибудь соринку, из которой прежде извлеклось бы столько страшных историй, я попросту думал: «а вот и соринка, ну и Бог с ней, лети себе дальше, соринка...»

Когда полковник вернулся и, путаясь в выражениях, объявил о смерти Наташи, я спросил только, давно ли это случилось.

— Четверть часа назад, — сказал полковник и передал вкратце всё, что сумел узнать по телефону от своего дежурного контролера. Он, контролер этот, — говоря попросту — сыщик, — сопровождал Наташу на некоторой дистанции и зарегистрировал по хронометру прямое попадание, ровно в 10 утра, минута в минуту.

Полковник был явно чем-то обескуражен и, словно желая загладить свою вину, громко бранил высокие инстанции, которые были предупреждены, но почему-то не сработали во-время, как это им надлежало сделать. Я плохо его слушал. Мне хотелось вернуться назад, к сосульке, не к той, что убила Наташу, а к другой, которая обещала вырасти, может быть, через миллион лет после нас. Не знаю, что мною руководило — скорее всего запоздалое желание выяснить скрытую природу этого человека, такого жалкого, несчастного и загадочного в своем несчастии. Я помнил еще, что он умеет быть грозным и твердым, как та сосулька, но не мог представить себе, как это бывает, и что вообще бывало и будет в жизни этого престарелого мешковатого военного с морщинистым лицом и вытертыми обшлагами. Он весь не вытанцовывался у меня, он

весь рассыпался на мелочи — какие-то пуговицы, морщинки...

— Что вы на меня смотрите?! — заорал Тарасов и хватил кулаком по столу. — Вы думаете — я вру?.. Вы же сами лучше меня знаете — я не мог, не мог ничего сделать... Можете сами убедиться. Я не виноват. Завтра мы займемся...

— Нет, полковник, завтра мы ничем не займемся, — сказал я, отводя глаза от его неуловимых морщинок. — К сожалению, я больше не смогу быть вам полезен. Примерно четверть часа назад все мои ясновидческие качества куда-то провалились. Я даже не знаю, была ли у вас когда-нибудь жена, полковник. Я ничего не знаю теперь. Всё кончилось...

### Заключение.

Вот и кончена моя повесть, и мне остается в конце лишь прибавить некоторые разъяснения, не уместившиеся в начале и в середине, но полезные, быть может, моим читателям, которые бы захотели всё правильно осознать и хорошо почувствовать. Однако — кто такие мои читатели? и к кому я, собственно говоря, обращаюсь и на кого уповаю в своем художественном изыскании? Мне кажется: главным образом это — я сам. Во-первых, когда пишешь, то ведь невольно читаешь и перечитываешь написанное, и вот, слава Богу, один читатель уже нашелся.

— Но помилуйте, — возразят мне другие, — не для себя же вы так стараетесь, и сидите по ночам, и не спите, и тратите последние силы?

— Для себя, — скажу я им честно и откровенно. — Но только — не для такого, какой я есть в настоящий момент, а для такого, каким я буду когда-нибудь. Значит, и все прочие, временные читатели, если пожелают, могут ко мне с легкостью присоединиться. Ибо никому не известно — кто из нас кем был и будет. Может, вот вы, именно вы и есть — я? Поэтому пока приходится иметь дело со всеми, а там посмотрим.

Ведь что же происходит? Живет человек, живет и вдруг — бац! — и нет его больше, а вместо него по тому же месту ходят другие люди и в свою очередь предаются бессмысленному уничтожению. Только и слышно кругом: бац! бац! бац!

Что делать? Как с этим бороться? Вот тут и приходит на помощь — всемирная литература. Я уверен: большая часть книг — это письма, брошенные в будущее с напоминанием о случившемся. Письма до востребования, за неимением точного адреса. Попытки задним числом восстановить отношения с самим собой и со своими бывшими родственниками и друзьями, которые живут и не помнят, что они — пропавшие без вести.

Пропал человек, ищи-свищи. Распался на составные части, потерялся в толчее и не видно его нисколько. Собрать всех надо, созвать. Ау! Василий! Ау! ау! Наташа! Где вы — Грета! Степан Алексеевич!? — куда вы все подевались? Эй! Хлодвиг! Леонардо да Винчи! — отзовитесь!

Никто не отзывается... Пусто вокруг, словно всё вымерло, словно и не было никогда тех удивительных трех недель, вместивших больше, чем смог выдержать мой слабый мозг.

...Выпустили меня из тюрьмы через год и четыре месяца. Полковник Тарасов долго бился, пытаюсь возвратить мою утраченную чувствительность. Он даже стрелял в меня холостыми патронами, предполагая саботаж. Но это не помогало.

Тогда меня свезли в пансион закрытого типа и восемь месяцев лечили. Я начал ходить.

Причина моей болезни коренилась в неуверенности. Я боялся передвигать ноги: вдруг поскользнусь. Мне, приученному всё знать заранее, было нелегко вернуться к нормальной жизни, полной неожиданностей. Подойдет, бывало, доктор в колпаке, а у меня пульс подскакивает при одном приближении. Ведь ничего же не известно: вдруг этот доктор вместо пульса даст по морде? Кто знает, что у него на уме?

Затем — снова полковник. Но драться он перестал и был мрачен. Ему за меня влетело: слишком долго возился с явным шарлатаном и поддался антинаучной гипотезе. Коньяки, выпитые со мною за казенный счет, ему тоже припомнили. Всюду есть свои завистники. Да и времена изменились. Шел 1953-ий год: всеобщее ослабление. На его служебной карьере стоял крест.

Однако расстались мы друзьями. Полковник просил известить в случае возобновления моей провидческой силы. Также мне было предложено дать письменное обязательство не заниматься частным образом магией и волшебством. Я охотно согласился на все условия.

В столице мне жить возбранялось. Устроился в провинции, за Ярославлем, анахоретом, в должности гидротехника. В два года сколотил нужную сумму — полторы тысячи — и отослал Борису.

Перевод пришел обратно. Навел справки. Оказалось, за это время Борис успел заболеть и в феврале 54-го года умер с туберкулезным диагнозом. Кто бы мог подумать! При нашей последней беседе я не подозревал, что выступаю оракулом. Но даже это вранье из моих уст — сбылось...

Теперь я оплакивал издали его раннюю смерть. Все-таки старый знакомый. Могли бы когда-нибудь встретиться, поговорить о Наташе... Конечно, он был причастен и косвенно повинен... Если бы он не донес тогда, всё вышло бы по другому. Но кто из нас не причастен и не повинен?..

Пару раз я побывал в Москве: искал Андрюшу. Безуспешно. Должно быть, с тех пор он сильно вырос. Сейчас, наверное, я бы в Андрюше не узнал родного отца. Не того отца, который появится позднее, во сне, в связи с Василием, а настоящего, здешнего, моего основного папу. Он умер, когда мне было пять лет. Его тоже звали Андреем... Ах да, я забыл сказать, как это случилось. Это было еще тогда, при Наташе, когда мы жили в Москве. Я шел к Борису за деньгами и по дороге мне попался двухгодовалый мальчик под охраной няньки. Что-то в нем меня задержало и, присев на корточки, я спросил, как его звать.

— Андрюша! — ответил он с детской непосредственностью.

Но его голубые глазки говорили о большем. Та же самая голубая насмешливая глубина, что склонялась надо мной во дни младенчества. Мудрый взгляд старшего друга, знающего цену вещам. Мне даже показалось, что он подмигивает.

— Папочка! — зашептал я, чтобы нянька не слышала. — Милый папочка! Как ты поживаешь? Хорошо ли тебе в твоих новых условиях?..

Андрюша не успел ответить: нянька — темная баба — схватила его на руки и поспешно унесла от меня свое сокровище. Всё же по костюмчику и здоровой упитанности я мог догадаться, что ему живётся неплохо. Безусловно — он попал к состоятельным, культурным родителям. Но больше мы с ним так и не видались.

А еще, совсем недавно, в Ярославле, в привокзальном

буфете, мне встретился тот самый летчик, с которым я познакомился за Новым годом.

— Сволочь ты, а не предсказатель! Шпион! Жулик! — говорил он, обливаясь пьяными слезами. — Какое ты право имел в чужую жизнь залезать? Ограбил ты меня. Всю молодость искалечил. Не знал бы я ничего — и делу конец. А теперь что? Шестидесят два денечка мне гулять осталось... Правильно я сосчитал? А?! Правильно?..

Я холодно ответил, что тогда, в новогодие, соврал ему о ракете, которая должна взорваться через пять с половиной лет в районе Тихого океана. На самом деле никому ничего не известно: может, он завтра взорвется, а может — никогда.

— А ты сейчас не врешь? Честное слово? — спрашивал он меня с надеждою в голосе. — Или успокоить хочешь? Так ты лучше меня не успокаивай. Ты мне всю правду скажи!..

Он был непоследователен, этот летчик-испытатель, но мне понятны его душевные колебания. Я сам в том далеком, достопамятном январе три недели подряд увиливал от правды, пока она меня не настигла и не dokonала. А теперь, избавленный от нее, я мучился неизвестностью и хотел бы узнать всю правду, какой не успел доискаться, и молил Бога о возвращении прекрасного дара, которым я в свое время так плохо распорядился.

Мне бы радоваться тогда своему счастью и узнавать поточнее, кем я был и буду в следующие разы. встретимся ли мы с Наташей и поженимся ли мы с нею когда-нибудь, и как связать воедино разбросанную по кусочкам жизнь? Но я вместо этого глупо бегал от смерти и боялся ее, как ребенок, и вот она пришла и разделила нас. Нет Наташи, нет Сусанны Ивановны, и Боря тоже умер, и летчику-испытателю осталось совсем немного...

Не помню, чей афоризм: «Мертвые — воскреснут!» Что ж, я не спорю. Воскреснут-то они воскреснут. Уже сейчас каждый день в родильных домах воскресает масса народу. Но помнят ли они о себе, о нас — когда воскресают? — вот вопрос! Узнаем ли мы в них, в наших беспечных детях, тех, что в прошлые времена приходились нам женами и отцами? А ведь если никто никого не вспомнит и не узнает, значит — всё остается по-прежнему, и смерть разделяет нас перегородками забвения, и допустима ли такая с нашей стороны забывчивость?

Нет! Вы как хотите, а я — покуда всё не улучшится и

не изменится — я остаюсь с мертвыми. Нельзя бросать человека в этакую нищету, в этакое последнее и окончательном унижении. А что может быть униженнее мертвого человека?..

Я теперь всё больше живу воспоминаниями. Цветной бульвар. Наташа. Мои разногласия с Борей. Чудак-человек. Ну, чего он со мной не поладил? Полковник Тарасов. Славный, простой человек — полковник Тарасов. Как мы с ним хорошо выпивали. После Наташи я в рот не беру спиртного...

Но чаще другого мне приходят на память два эпизода. Оба они — из будущего. Первый — в больнице, ночью, все спят, и сиделка на табурете, поддреывая, поджидает, когда же, в конце концов, я отпущу ее спать. Мне еще долго ждать и меня мучают угрызения, что я всё еще живой, тогда как другие умерли. Бессовестно жить — когда другие умерли. Нечестно, несправедливо. Но у меня не получается...

А потом — наоборот — я стою на балконе и колочусь вместе с бабочками в освещенное окно. Но снова мне никак не удается проникнуть туда, за прозрачную перегородку, в светлую комнату. Живая Наташа сидит и читает книгу — ту самую, быть может, которую я написал. И я пишу отсюда, пишу, колотясь туда, и не знаю — услышу ли когда-нибудь это тягостное постукивание...

А ты, Наташа, услышишь? Дочитаешь ли ты до конца или бросишь мою повесть где-то на середине, так и не догадавшись, что я был поблизости? Если бы знать! Не знаю, не помню. Надо бы всё объяснить. Уточнить. С самого начала. Нет, не сумею. Того и гляди захлопнет. Говорю тебе, Наташа, перед тем как наступит конец. Подожди одну секунду. Повесть еще не кончена. Я хочу тебе что-то сказать. Последнее, что еще в силах... Наташа, я люблю тебя. Я люблю тебя, Наташа. Я так, я так тебя люблю...

1961 г.

СУДИДЁТ

## ПРОЛОГ

Когда не хватало сил, я влезал на подоконник, высовывал голову в узкую форточку. Внизу шлепали калоши, детскими голосами кричали кошки. Несколько минут я висел над городом, глотая сырой воздух. Потом спрыгивал на пол и закуривал новую папирсу. Так создавалась эта повесть.

Стука я не расслышал. Двое в штатском стояли на пороге. Скромные и задумчивые, они были похожи друг на друга, как близнецы.

Один осмотрел мои карманы. Листочки, разбросанные по столу, он собрал аккуратно в стопку и, послунявив пальцы, насчитал семь бумажек. Должно быть, для цензуры он провел ладонью по первой странице, сгребая буквы и знаки препинания. Взмах руки — и на голой бумаге сиротливо копошилась лиловая кучка. Молодой человек ссыпал ее в карман пиджака.

Одна буква — кажется «з», — шевеля хвостиком, быстро поползла прочь. Но ловкий молодой человек поймал ее, оторвал лапки и придавил ногтем.

Второй тем временем заносил в протокол все детали моей интимной жизни. Он выстукивал стены, рылся в белье и даже носки выворачивал наизнанку. Мне было стыдно, как на медицинском осмотре.

— Вы меня арестуете?

Двое в штатском застенчиво потупились и не отвечали. Я не чувствовал за собою вины, но понимал, что сверху виднее, и покорно ждал своей участи.

Когда все было кончено, один из них взглянул на часы:

— Вам оказано доверие.

Стена моей комнаты стала светлеть и светлеть. Вот она сделалась совсем прозрачной. Как стекло. И я увидел Город.

Подобно коралловым рифам возвышались здания Храмов и Министерств. На шпилях многоэтажных строений росли орден и бляхи, гербы и позументы. Лепные, литые, резные украшения, сплошь из настоящего золота, покрывали каменные громады. Это был гранит, одетый в кружево, железобетон, разрисованный букетами и вензелями, нержавеющая сталь, обмазанная для красоты кремом. Все говорило о богатстве людей, населяющих Великий Город.

А над домами, среди разодранных облаков, в красных лучах восходящего солнца, я увидел воздегую руку. В этом застывшем над землей кулаке, в этих толстых, налитых кровью пальцах была такая могучая, несокрушимая сила, что меня охватил сладкий трепет восторга. Зажмурив глаза, я упал на колени и услышал голос Хозяина. Он шел прямо с небес и звучал то как гневные раскаты артиллерийских орудий, то как нежное мурлыканье аэропланов. Двое в штатском замерли, вытянув руки по швам.

— Встань, смертный. Не отвращай взора от Божьей десницы. Куда бы ты ни скрылся, куда бы ни запрятался, всюду настигнет она тебя, милосердная и карающая. Смотри!

От парящей в небе руки упала громадная тень. В том направлении, где она пролегла, дома и улицы раздвинулись. Город открылся, как пирог, разрезанный надвое. Виднелась его начинка: комфортабельные квартиры с людьми, спящими попарно и в одиночку. По-младенчески чмокали губами большие волосатые мужчины. Загадочно улыбались во сне их упитанные жены. Равномерное дыхание подымалось к розовеющему небу.

Только один человек не спал в этот утренний час. Он стоял у окна и смотрел на Город.

— Ты узнал его, сочинитель? Это он — твой герой, возлюбленный сын мой и верный слуга — Владимир.

Божественный баритон гудел у моего уха.

— Следуй за ним по пятам, не отходи ни на шаг. В минуту опасности телом своим защити. И возвеличь!

Будь пророком моим! Да воссияет свет, и содрогнутся враги от слова, сказанного тобой!

Голос умолял. Но стена моей комнаты оставалась прозрачной, как стекло. И кулак, застывший в небе, висел надо мною. Еще исступленней был его взмах, толстые пальцы побелели от напряжения. А человек все стоял у окна, глядя на спящий Город. Вот он застегнул мундир и поднял руку. Она казалась маленькой и слабой рядом с Божьей десницей. Но жест ее был столь же грозен и столь же прекрасен.

## ГЛАВА I

Гражданин Рабинович С. Я., врач-гинеколог, произвел незаконный аборт. Перелистывая следственные материалы, Владимир Петрович Глобов брезгливо морщился. Работа была закончена, давно рассвело, и вдруг, напоследок, вылезает этот неприличный субъект — в потрепанной папке без номера, с фамилией из анекдота. Для должности городского прокурора — дело незаслуженно мелкое.

Ему уже приходилось как-то обвинять одного Рабиновича, а может быть — двух или трех. Разве их упомнишь? Что по своей мелкобуржуазной природе они враждебны социализму, — понимал теперь каждый школьник. Разумеется, бывали исключения. Илья Эренбург, например. Но зато с другой стороны — Троцкий, Радек, Зиновьев, Каменев, критики-космополиты... Какая-то врожденная склонность к предательству.

В сердце покалывало. Владимир Петрович расстегнул мундир и, скосив глаз, посмотрел на грудь — под левый сосок. Там, рядом с рубцом от кулацкой пули, виднелось синее сердце, пронзенное стрелой. Он погладил давнюю, с юных лет, татуировку. Сердце, проколотое стрелой, истекло бледно-голубой кровью. А другое — приятно ныло от усталости и забот.

Прежде чем отойти ко сну, прокурор постоял у окна, озирая город. Улицы были еще пусты. Но милиционер на перекрестке, как это заведено, точным взмахом руки управлял всем движением. По знаку дирижерской палочки невидимые толпы то застывали, как вкопанные, то стремительно бросались вперед.

Прокурор застегнулся на все пуговицы и поднял руку. Он чувствовал: «С нами Бог! И думал: «Победа будет за нами».

Дождь тек по лицу. Носки прилипали. Жду не больше пяти минут, — решил Карлинский и, не выдержав, пошел прочь.

— Куда же Вы, Юрий Михайлович?

Посреди мокрого сквера Марина была неправдоподобно суха.

— Вот они каковы — современные рыцари, — говорила Марина, властно и ласково улыбаясь. — Идите же скорее сюда!

И очертила рядом, под зонтиком, уютное сухое местечко.

— Добрый день, Марина Павловна. Я думал — Вы не придете. Уже милиционер стал беспокоиться: не собираюсь ли я взорвать памятник Пушкину, пользуясь ненастной погодой.

Марина смеялась:

— Во-первых, мне надо позвонить по телефону.

Дождь бил в асфальт и отскакивал. Площадь пузырилась и текла. Они бросились через нее, пересекая воду и ветер. Телефонная будка была островом в океане. Юрий незаметно вытер руки о талию своей спутницы.

— От Вас пахнет мокрой тряпкой, — возразила Марина. Он не успел обидеться — она уже набрала номер и произнесла: — Хэлло!

— Хэлло, — решительно повторила она певучее заграничное слово. На верхней ноте ее голос капризно затрепетал.

— Володя, это ты? Я плохо тебя слышу.

Чтобы лучше слышать, она придвинулась к Юрию. Он чувствовал душистую теплоту ее щеки.

— Говори громче! Что, что? Обедайте без меня. Я вернусь не скоро, поем у подруги.

Трубка беспомощно булькала. Это муж на том конце провода пытался протестовать. Тогда Юрий взял руку Марины и поцеловал. Он прощал ей все обиды — и размякшие от воды штiblеты и то, что недотрога. Ее голос извивался, как змея.

— Вечером изволь итти на концерт. Без меня. Очень тебя прошу... Объясню после... Что ты говоришь? А-а-а... Я тебя — тоже.

Она предавала его — глупого наивного мужа. Эй, ты, прокурор! — издевался Карлинский. Слышишь? Она гово-

рит «тоже», чтобы не сказать «целую». Это потому, что я! я! стою рядом и трогаю ее ладонь.

— Чему Вы так радуетесь? — удивилась Марина, повесив трубку.

А Карлинский, казалось, и в самом деле собирался оправдать ее прогнозы:

— Марина Павловна, я давно хотел задать Вам один нескромный вопрос...

— Да, пожалуйста, хоть два, — разрешила она заранее усталым голосом.

Ты — дьявол, но я тебя перехитрю, — успел подумать Юрий. И вкрадчивым тоном спросил:

— Марина Павловна, Вы верите в коммунизм?... И еще второй, с Вашего разрешения: Вы любите мужа?

— Чорт, уже прервали! — Владимир Петрович подышал немного в искусственную телефонную тишину. Марина не отзывалась. За стеной Сережа спрягал немецкие глаголы.

— Сергей, поди сюда.

— Ты меня звал, отец?

— Прежде всего, здравствуй.

— Здравствуй, отец.

— Учишься? А я уже наработался. Всю ночь, до утра, как проклятый, сидел... Слушай, составь мне компанию. Выходной день как-никак. Поболтаем, потом на машине прокатимся. Вечером — на концерт махнем. Согласен?

— А Марина Павловна?

— Мать — у подруги. По рукам что ли?

Сережа не возражал.

— Хочу я спросить, Сергей... В среду, на родительском собрании много про тебя говорили. Хвалили, как полагаются. Ну, а после учитель истории — как его? — Валериан...

— Валериан Валерианович.

— Вот-вот, он самый. Отозвал меня в сторонку и шепчет: «Обратите внимание, уважаемый Владимир Петрович. Ваш сын, знаете ли, задает разные неуместные вопросы и вообще — проявляет нездоровый интерес».

Прокурор помолчал и, не дождавшись ответа, — как бы между прочим — сказал:

— Ты это, Сергей, насчет баб что ли интересуешься?

Нестерпимый розовый свет ослепил Сережу. Будто де-вухка, — залюбовался Владимир Петрович. Он знал, что

Сереза повинен в иного рода грехах, но в воспитательных целях — пусть сам признается — продолжал пытку:

— Да! О женщинах подумать иногда не вредно. Я в твои годы был хоть куда. Можно сказать — первый парень в деревне... Только зачем с преподавателем на такие темы дискуссировать? Ты бы меня спросил...

— Да я не об этом вовсе, — взмолился Сереза. — Я совсем про другое спрашивал.

— Про другое?

— Ну, конечно же. По истории — вопросы. По философии тоже. Например, о войнах справедливых и несправедливых.

— О войнах? — удивился Владимир Петрович, все еще делая вид, что ничего не понимает. — Разве ты в будущем году на военную службу собираешься? А институт?

Сереза заторопился. О разных стыдных вещах он и не думал никогда. Учение про войны справедливые и несправедливые создано еще Марксом. Потом его развивал Ленин применительно к новой исторической обстановке. Подтверждая это, Сереза сбегал к себе и принес какие-то тетрадки, исписанные мелким почерком.

— А Валериан Валерианович говорит — Ермак вел справедливое покорение Сибири. И восстание Шамиля тоже правильно подавили...

— Да, — размышлял Владимир Петрович. — Без Сибири нам нельзя. И без Кавказа — нельзя. Нефть. Марганец. Народ-то что поет? «На тихом берегу Иртыша сидел Ермак, объятый думой». Слышал?

— Когда англичане Индию, они тоже...

— Ты эти сравнения брось, — заволновался Владимир Петрович. — Англичане нам не указ. Где мы живем? В Англии что ли?

Он задумался на секунду: Англия, действительно, была ни к чему. Какая Англия?

— Но исторически...

— Исторически, исторически! Ты историю изучай, да о сегодняшнем дне помни. Мы что строим и уже построили? То-то. Значит, в конечном счете, понимаешь — в конечном! — правильно делали наши предки. Справедливо.

Отец был прав. Но и Шамиля жалко. Ведь он не знал, что в России революция произойдет. Хотел свой народ освободить, а после выяснилось — зря старался и даже для социализма вредно.

— А вот Юрий Михайлович по другому мне объяснял.

Все дело, говорит, в том, на чью точку зрения встать. Для одних — справедливо, для других — наоборот. Где же тогда настоящая справедливость?

Опять этот Карлинский! — хотел выругаться Владимир Петрович, но сдержался.

— Ты, Сергей, поменьше этой софистикой увлекайся. Конечно, Юрий Михайлович — человек эрудированный и с Мариной Павловной хорошо знаком... Но все же он тебе не товарищ... Давай-ка выкладывай по порядку — какими еще вопросами ты учителей донимаешь?



— Все дело в том, дорогая Марина Павловна, на чью точку зрения встать. Попробуем встать на Вашу.

Покуривая вкусную сигаретку, Карлинский смотрел, как Марина кушает. Маленькая бесстыдная родинка, похожая на мушку, придавала ее лицу ослепительную белизну. Но вот уже обвисли складки щек, набрякла промежность у шеи и подбородка. Марина кусает пирожное, обнажив десны, так чтобы не запачкать на губах ярко накрашенную кожу.

— Марина Павловна!

Она медленно поворачивает голое лицо, показывая его со всех сторон.

— Мы же друзья, не правда ли? Потому я и позволяю себе говорить начистоту. Ведь не по любви... — Карлинский понизил голос, за соседним столиком двое молодых людей сосредоточенно лакали коньяк... — то есть не из любви к родине и коммунизму Вы пошли замуж? Вы, такая умная и такая красивая... Ведь Вы красивая?

— Красивая, — слегка посмеиваясь, подтвердила Марина.

— И умная.

— И умная.

— Люблю беседовать с Вами. Как будто ешь перец в томате. И кафе располагает к откровенности. Колорит!...

Юрий повел подбородком, приглашая оглядеться по сторонам. Молодой человек за соседним столиком упрямо твердил:

— Обожаю звон бокалов.

А его товарищ перекрестился куском ветчины, воздетым на вилку, проглотил и внушительным тоном добавил:

— Тело женщины — это амфора, наполненная вином.

— Не пора ли наполнить и наши амфоры? — спохватился Карлинский. — Только за что же нам выпить? За идеалы, о которых Вы так старательно умалчиваете?

Марина пожала плечами:

— Не умею разговаривать на отвлеченные темы, Юрий Михайлович.

— А на интимные?

— Тем более.

— Да-а-а. Вы склонны к загадкам. Каждая красивая женщина, между прочим, хочет казаться таинственной. Однако с Вами, Марина Павловна, опасно откровенничать. Вы все слушаете...

— Слушаю.

— Смотрите, запоминаете, а потом...

— Нет, я не все запоминаю, но понимаю я все.

— А я вот многого не понимаю.

— Например?

— Взять хотя бы Вашу красоту. Как Вы можете...

— Как я могу, умная и красивая, жить с моим мужем?

Вы это хотели сказать?

Карлинский замер. Мягко ступая, оскалив мордочку, зверь шел прямо на него. Чернобурая лиса, песец, куница, о мой долгожданный серебристый соболь! Молодые люди за соседним столиком уже объяснялись в любви:

— А я, Вита, честно тебе признаюсь — за всю свою жизнь лягушки не обидел.

— Спасибо, Толя, что я встретил в тебе человека.



— Так ты, Сергей, по юридической части собираешься? Дельно задумал. На смену отцу, значит? Молодец! А вопросы и сомнения твои, по правде сказать, гроша ломаного не стоят. Праздные, незрелые разговоры ведешь со своим Валерьянычем. Каша у тебя в голове. Зелен ты еще в большой политике разбираться.

Ты, к примеру, за бывших пленных вступаешься. А мне лучше тебя известно: трусы они и предатели. Или насчет зарплаты. Что же ты министра к уборщице приравняешь? Триста рублей в зубы и шагай вертеть государством?

Ты думаешь, глупее нас с тобою наверху сидят? Пока ты немецкие глаголы спрягаешь, да философии конспектируешь, там уже все известно, вычислено, рассчитано. И зачем глаголы твои нужны, и куда конспекты потребуются.

Ты одно пойми: главное — великая цель наша. Ею все и мерь — от Шамиля до Кореи. Этой целью любые средства освящены, все жертвы оправданы. Миллионы, поду-

май, миллионы ради нее погибли, последняя война чего стоит. А ты со всякими поправками лезешь — это несправедливо, то неправильно.

Я вот случай тебе расскажу, на всю жизнь его запомнил. Пришел приказ одному капитану: взять такую-то высоту и точка. Бойцы устали, разболтались, в смерть соваться никому не охота. А тут как раз дезертира приводят. Так, мол, и так, хотел улизнуть с поля боя. Капитан, не говоря худого слова, на глазах у всех, хлопнул его из пистолета, послал рапорт по начальству и — в атаку.

Получили мы рапорт, выясняем: как и что? Оказалось — вовсе и не дезертир это был, а просто другой офицер направил его куда-то по делу, а капитан не знал или запмятовал в горячке.

Подать сюда капитана! Самоуправство? Расстрел без суда и следствия? За такое — не поздоровится. Штрафная рота, как часы.

Докладывают: капитана больше нет, пал смертью храбрых.

Что же, перед солдатами мертвого командира позорить? Офицерские погоны сомнению подвергать? Может, не пристрели он этого дезертира, не поднял бы в атаку бойцов и приказа бы не выполнил?

Высоту-то, высоту взяли все-таки!

Я, признаться, тогда на случившееся с высоты той самой посмотрел. А теперь ты попробуй, посмотри. Ну, будущий прокурор, выноси свое справедливое решение.

— Я не хочу быть прокурором.

— В защитники метишь, по стопам Карлинского, в блистательную адвокатуру?

— Нет, я буду судьей.



— Сдаюсь, сдаюсь без боя, Марина Павловна. Я полностью согласен с Вами — цель оправдывает средства. И это тем более правильно, чем выше желанная цель.

Как это Вы замечательно выразились? — «мало родиться красивой, красоту нужно завоевывать». Bravo! Я не подозревал что за такой ренуаровской внешностью скрывается опытный полководец.

Знаете что, возьмите меня в свой арсенал. Красота требует поклонения, цель нуждается в средствах. Так пусть я буду недостойным средством Вашей всеоправдывающей красоты. Вы не пожалеете.

А теперь выпьем — за цель, за Ваше прекрасное лицо, за необходимый союз целей и средств!

Карлинский и Марина чокнулись.

— Вы воспользуетесь моим предложением?

— Не знаю. Может быть. Хватит об этом.

Марина была рассеяна. А Юрию все вспоминалось далекое, детское. Мудрый змий-искуситель вручал яблоко светловолосой Еве, нерасторопный Адам дремал под райским кустом. И для полноты картины он подвинул ей вазу.

— Попробуйте персик, Марина Павловна. Сладкое вино обычно закусывают фруктами.



Толстый человек по-ребячьи подпрыгивал, суетился, даже прихрамывал из вежливости. Он был гораздо старше и толще отца, но когда тот сбросил на пол калоши, человек вдруг нагнулся, прижал их к золотым галунам и забегал вокруг, приговаривая уменьшительными именами: — Калошки... но мерочек... шляпочку-то пожалуйста...

Сережа и Владимир Петрович прошли в зал.

Ноты и смычки зашевелились. На сцену выплыл конферансье — неудавшийся вундеркинд, облысевший от музыкальных занятий. Он почти пропел, старательно выводя каждое слово, длинный титул знаменитого дирижера, и концерт начался.

Сережа увидел, как надул щеки рыжий, похожий на боксера, трубач. Скрипачи остервенело замахали руками.

Музыка потекла.

Она была с цветными разводами — как вода на улице, когда прольют керосин. Она шумела и рвалась со сцены — в зал. Сережа вспомнил, что снаружи тоже хлещет ливень и поехал от удовольствия. Именно такой представлялась ему революция.

Буржуи тонули самым естественным образом. Пожилая дама в вечернем туалете, барахтаясь, ползла на колонну. Смыло. Ее муж-генерал плавал саженками, но тоже вскоре утонул. Уже самым музыкантам было по-шейку. Вытаращив глаза и сплевывая набегавшую волну, они судорожно пилили под водой, наугад.

Еще напор. Одиноко, верхом на стуле, промелькнул капельдинер. Волны бились о стены, лизали портреты великих композиторов. На поверхности плавали дамские сумочки и билеты. Время от времени из звонко-зеленой глубины, не-

спеша, как белый, недозрелый арбуз, всплывала чья-то лысина и пропадала.

— Это тебе не Прокофьев с Хачатуряном. Классика.

— Какая музыка! — воскликнул Владимир Петрович.

Его тоже весьма занимало происшедшее наводнение. Но видел и понимал он больше, чем Сережа: музыка не текла сама по себе — ею управлял дирижер.

Он возводил дамбы, прочерчивал каналы и акведуки, укладывал взбалмошную стихию в геометрически точные русла. Дирижер руководил: по взмаху его руки одни потоки останавливались и замерзали, другие устремлялись вперед и крутили турбины.

Владимир Петрович незаметно перешел в первый ряд. Никогда раньше не сидел он так близко от дирижера и никогда не думал, что эта работа требует стольких усилий. Еще бы! Уследить и за флейтой и за барабаном и заставить всех играть одно и то же!

Пот бежал с него ручьями, щеки тряслись. И спина хрипло вздрагивала при всякой паузе. Издали он казался легким танцором, который пляшет не ногами, а руками. Но здесь, вблизи, это был мясник, что рубит туши и колет лед, выхаркивая с каждым ударом отрывистое густое дыханье.

А музыка становилась все шумнее и шумнее. Уже не водопады и реки — они давно замерзли — ледяные глыбы пришли в движение, словно в ледниковый период. Один выступ с грохотом наезжал на другой. Перемещались миры и пространства. Новый век из гранита и льда наступил.

— Антракт! — объявил звонким голосом молодежавый конферансье.

## ГЛАВА II

Раздетая донага, Марина делала гимнастику. В трюмо бесшумно прыгали розовые овалы. Ей было занятно следить за их веселой игрой.

Марина придвинулась. Ее отражение росло в размерах, оглядывая себя по частям. В целом — оно напоминало пропеллер. От узкой талии вверх и вниз разбегались упругие лопасти. Бедра и плечи уравнивали друг друга. А сбоку — от груди к ягодицам — изгибалась буква S: синусоида торса.

Взыскательно, по деловому Мария выверяла пропорции. Не отвисает ли зад, нет ли морщин на шее? Она бесцеремонно мяла груди, вертела голову, массировала живот. Зеркало служило ей верстаком, чертежной доской, мольбертом — рабочее место женщины, возмечтавшей о красоте. Она не прихорашивалась, не кокетничала. Она трудилась решительно и вдохновенно.

Сегодня, восемнадцатого сентября, Марине Павловне исполняется тридцать лет. Другие в столь бальзаковском возрасте кончают свою карьеру. Свадебная красотка, невзначай угодившая на обложку иллюстрированного журнала, к тридцати годам расплывается, как подогретый пломбир.

Женщины, похожие на кастрированных мужчин, гуляют по улицам и бульварам. Коротконогие, словно беременная такса, или голенастые, как страус, они прячут под платьем опухоли и кровоподтеки, затягиваются в корсет, подшивают вату взамен грудей.

Марине к маскарадным костюмам прибегать незачем. Она сумеет быть изящной в любом положении — хоть на четвереньках, с высунутым языком. А вы попробуйте в таком виде сохранить достоинство и обаяние!

Она замерла перед зеркалом. Непристойная поза еще лучше подчеркивала изгибы ее спины. Стоять на четвереньках, с открытым ртом было как-то неловко. Но Марина удостоверилась: красоту ее тела и лица ничто не может нарушить.

У прочих женщин красота служит подсобным средством. Красивым легче выйти замуж, найти любовника. Одни хотят метать икру, оправдываясь материнскими чувствами. (Как во-время ей удалось увернуться от этой безвкусной развязки!) Другие находят непонятное удовольствие в ночной слюнявой возне. (Бедный Володичка, мне его просто жаль!). И никто не знает, что прекрасная женщина сама достойна быть целью. А все остальное — мужчины, деньги, наряды, квартиры, автомашины — это лишь средства, любые средства, служащие красоте.

Марина делает шаг в сторону — ее отражение ползет по стеклу и пропадает. На месте живота просвечивает ваза с цветами, а выше — грудa коробок и гипсовый бюст. Марина догадывается, что это муж, покуда она спала, прокрался к ней в комнату и воздвиг дворец из разных сюрпризов. Это уж его правило, он всегда покупает много и беспорядочно. Вон даже бюст Хозяина, не считая конфет, духов и прочих средств, нужных ее красоте.

— Зачем Вы здесь, уважаемый? — спрашивает Марина, не оборачиваясь. — Великим людям не полагается подсматривать за голыми дамами.

Она хочет закрепиться на скользкой зеркальной поверхности. Вопреки законам физики — навечно. Чтоб даже в ее отсутствии прекрасное отражение так и оставалось нетронутым. Добиться этого ей не легко.

А в коридоре уже давно скрипят половицы. Это супруг вздыхает под дверью, подглядывая в замочную скважину, как мальчишка, за утренним туалетом жены.

Марина Павловна стоит перед зеркалом, нагая, надменная. Не стыдясь и не радуясь, она поворачивается в разные стороны, чтобы мужу за дверью было удобней смотреть. Она не возражает — пусть полюбуется ради праздника. Но ребенка от нее пусть лучше не ждет.

Потом неторопливо надевает халат и говорит: — Кто там? Войдите.

— Поздравляю тебя, Мариночка, с днем рождения.

Она целует его в щеку.

— Спасибо за подарки, Володя. Они все мне очень нравятся. Только вот эту вещь давай поставим в твоём каби-

нете. К моей комнате она чуточку не подходит: не тот стиль.



После первого тоста за здоровье дорогой новорожденной все накинулись на еду, и Карлинский смог, наконец, вплотную заняться Мариной. Примостившись подле нее слева (по правую руку, как полагается, сидел Владимир Петрович), он бросал колкие замечания в адрес гостей, чем весьма забавлял прекрасную хозяйку, вызывая зависть остальных мужчин.

— Политическая лояльность нашего собрания обеспечена, — кивнул Юрий в сторону следователя Скромных, давнего друга семьи Глобовых.

Марина была в ударе. Она смеялась островам Карлинского, угощала ближайших соседей, подкладывала себе в тарелку наиболее лакомые куски, изучала туалеты дам, не пренебрегала и Владимиром Петровичем, время от времени касаясь коленом его ноги под столом, и легким движением ресниц управляла домработницей, следя за непрерывным конвейером вин, салатов и соусов. Потому все неослабно чувствовали праздничное присутствие Марины, кушали, пили, говорили ради нее одной. И это было всем приятно, а ей — тоже.

— Обратите внимание, — нагнулся к ней Юрий, — с каким пылом этот хранитель госбезопасности расхваливает своего отпрыска. Все профессиональные тюремщики, по моим наблюдениям, нежно любят детей. Добро и зло уравновешены в природе...

Марина Павловна сочла нужным ответить:

— Вероятно, поэтому, Юрий Михайлович, адвокаты в домашнем кругу так жестоки и злы?

— Камешек в мой огород? Но какого гуманиста не выведет из себя это родительское сюсюканье? Можно подумать, здесь одни садисты и заплочных дел мастера.

Разговор, действительно, шел о детях.

— А где Сережа? — спросила жена следователя. И не успела Марина ответить, что ее пасынок вместе со школой уехал на уборку картофеля, как супруг Скромных уже затянул свою обычную арию: «А вот мой Боренька...» Все восхищались умом десятилетнего мальчика.

— Я пью за день рождения Вашей будущей дочери, Марина Павловна. За невесту моему Борису! — неожиданно заключил следователь.

Неужели она беременна? — подумал Юрий, но, взглянув на бесстрастное лицо Марины, успокоился: этот следователь готов спаривать еще не зачатых младенцев.

Владимир Петрович тоже был изумлен: ну и нюх у Аркадия Скромных — уже все знает! И чтобы не выдавать приятной тайны раньше срока, прокурор, позвонив ложечкой о бокал, взял слово:

— Хотя ты и старый следователь, Аркадий Гаврилыч, однако, улик у тебя нет, и дело временно прекратим за отсутствием состава преступления. Выпьем лучше за всех наших детей, за прочную семейную жизнь!

Гости повиновались.

— Что такое человек семейный? Это — серьезный человек, и в дружбе, и в работе, и в государственном смысле — надежный. Кто детьми обзаводится, тот хороший гражданин. Он о семье думает, о будущем, о потомках, на земле укорениться желает. Он весь на виду.

Глобов раскрыл ладонь, широкую, как тарелка, и, сжав ее в кулак, продолжал:

— Я лично сторонник многодетной семьи. Сам из такой вышел. Нас, Глобовых, по всему миру — как в лесу грибов. И стреляли нас, и резали, а вот не перевелось, не изничтожилось глобовское племя. Младший брат — на Дальнем Востоке полковник, другой — на Каспии рыбным комбинатом орудует, сестра, в Ленинграде, в прошлом году диссертацию защитила...

Пальцы прокурора разгибались, начиная с мизинца. Вот и указательный. Это, по всей вероятности, был сам прокурор — прямой, крепкий, с отполированным ногтем на конце.

— И есть же люди — за бездетность агитируют! Вчера читали в газете? Неомальтузианство. Целый полвал. Очень оно распространено на Западе — это нео. И у нас кое-что в этом роде можно еще встретить. Мне в руки одно дело попало...

Перегибаясь через бутылки, Глобов зашептал следователю. Гости отвели глаза к еде, догадываясь — аборт.

Карлинский подавил внезапный приступ тошноты. Чтобы рассеяться, стал думать о Мальтусе. В каждой теории есть своя правда. Нельзя же размножаться до бесконечности? Заселим Сахару, Антарктику, а дальше куда? Вот тут и следует изобрести нечто универсальное.

Известно же — человеческий зародыш на какой-то ранней стадии уподобляется рыбе. Зачем же попусту гибнуть

рыбным богатствам страны? В прекрасном будущем этих милых рыбок утилизируют. Осторожно изымут из материнского чрева и станут разводить в особых прудах, приучая к самостоятельности. Пускай себе обрастают чешуйками и плавниками под государственной охраной какого-нибудь глобовского собрата. Тут же, при абортарии — рыбозавод, консервы в огромном количестве. Кого в шпроты, кого в килечки — по национальному признаку. И все произойдет в согласии с марксизмом. Мы снова вернемся к людоедской закуске. Но не вспять, не к первобытному пожиранию себеподобных товарищей, а, так сказать, на более высокой и деликатной основе. Развиваясь по спирали...

Юрия уже не тошнило. Он был в восторге: не познакомиться ли Марину Павловну с этой оригинальной идеей. Но куда он сомневался — все-таки дама — Марина сказала:

— Володя, что за секреты в обществе? Это не тактично. Кушай свою рыбу.



Зашипела пластинка. Простуженный тенор повел старинное, двадцатых годов, танго.

Был день осенний, с деревьев листья опадали,  
В хрустальных астрах печаль усталая цвела.

Русский эмигрант из парижского бардака пел о неразделенной любви. И хотя хрустальных астр не бывает, всем стало не по себе, когда тенор с горестным изумлением воскликнул:

Ах, эти черные глаза!

— Ах, эти черные глаза, — подхватил на низкой ноте невидимый хор.

Меня пленили

— сокрушался белоэмигрант, и хор глухо роптал: — Меня пленили.

Их позабыть не в силах я,  
Они горят передо мной.

Владимир Петрович бережно передвигал Марину меж танцующих пар. Автоматически, под гипнозом, она выби-

вала такт. Блаженное безволие колыхало ее. Озноб, словно минеральная вода, испускал пузырьки. Они взбегали вдоль позвоночника — к шее — по изъязвленной коже затылка — до кончиков наэлектризованных волос.

Ах, эти черные глаза!

Кто вас полюбит,

Тот потеряет навсегда и счастье и покой.

— Ах, эти черные глаза, — простонала Марина.

Не глядя по сторонам, она знала, что все смотрят на нее и ею одной любят. Каждый мужчина здесь мечтал танцевать только с Мариной. И ей хотелось итти и итти без конца под эту песню о неразделенной любви, итти по всей земле, меняя страны, времена, партнеров, и, никого не любя, изнемогать от счастья, что все тебя любят и что тебе лучше всех.

— Сегодня я выбираю музыку и кавалеров! — объявила Марина, пуская пластинку еще раз. Она отплыла с Карлинским, лишь зацвели астры, каких не бывает на свете.

Их позабыть не в силах я,

Они горят передо мной

— подпевал Юрий в теплое ухо Марины.

Он сам не ждал, что его искусственную душу так растрогает бульварный романс. Но сколько ни зубоскалил Юрий над этой мещанской экзотикой, он не мог развеять ее утонченно-пошлого очарования.

В ананасовых рощах цветут хрустальные астры. У фешенебельных отелей, на фоне сплошных пейзажей фланируют взад и вперед прилично одетые мужчины при троточках и золотых зубах. Симпатичные дамы в будуарах и — как это? — кулуарах строят куры. А вокруг саксофоны, чичисбеи, неглиже. Гондолы и гондоны. Гривуазно ныряя. В рюмке от сервиза пламенеет ликер. Петя + Тося = Любь. Лю-эс.

А Марина прильнула к нему, покорная и доверчивая. Будто она поняла, наконец, кто ее избранник. Будто не нужно ей никого-никого, кроме Юрия. И возможна в жизни — если не любовь, то хоть обыкновенная нежность.

Вот тут, посередине, Марина сменила партнера. По ее знаку подскочил следователь Скромных, заранее вихляя задом. Он увлек Марину в новый круговорот.

Владимир Петрович проводил насмешливым взглядом

одинокую фигуру Карлинского и опять, делая вид, что курит, повернулся к танцующим.

На выгнутой шее — лицо. Оно застыло. А тело пульсирует в такт музыке, перебирает ногами. И спящее лицо покачивается. Будто лунатик, Марина идет по комнате. Вот она придвинулась к своему кавалеру, отступила, снова придвинулась. Лицо покачивается. Белое, строгое, как от другого туловища, оно не принимает участия в окружающей суете. Переплетаются ноги, пыхтит очередной счастливцев, нетерпеливо ждуг своей минуты следующие мужчины. Но лицо Марины спокойно, точно она отсутствует, точно ей все равно, кому и когда достаться.

И эта мертвая неподвижность ее лица и эта длинная очередь к жертве, впавшей в беспамятство, вызывают уже не ревность, а ужас — перед насилием, что совершается в его доме, у всех на глазах, под музыку. Чтобы как-то остановить их — потерявших стыд и совесть людей, — прокурор подходит к извергшемуся вконец патефону и будто бы ненароком, споткнувшись, опрокидывает его на пол.



Юрий не мог заснуть. Последнее время, по ночам, с ним бывало такое: вдруг он вспоминал, что должен умереть, и начинал бояться. Особенно часто это случалось, когда он лежал на спине.

Жизни его не угрожала опасность и можно было надеяться, что он проживет еще лет двадцать пять, а то и все тридцать пять, если будет беречь свое здоровье и бросит курить. Но самая мысль о том, что через двадцать пять или даже через сорок лет ему предстоит умереть, была нестерпима. Это очень страшно, когда тебя нет, а другие еще существуют.

Гроб и могила его не пугали. Главное — что ничего не будет после смерти, ничего и никогда, на веки вечные. Если бы спровадили в ад, и то — лучше: пусть поджаривают на сковородке — все-таки какое-то самосознание остается.

Ему вспомнилось, как в детстве он завидовал слонам, которые живут 150 лет. А шуки, говорят, — 200. А когда умер отец, Юрий бился в истерике, и все думали, что ему жаль бедного папу, а он себя жалел, догадываясь о своей смерти, и потом долго расспрашивал всех про загробную жизнь в надежде, что она есть.

Зачем они отняли веру? Личное бессмертие заменили

коммунизмом! Разве может быть какая-то цель у мыслящего человека, кроме себя самого?

Чувствуя, что он умирает и вот-вот совсем исчезнет, Юрий сел на кровати и зажег лампу. Он кашлянул и подумал, что т о г д а и кашлять уж не придется. Потом увлажненными пальцами потрогал стул, который останется (и ножки стула останутся!), в то время как Юрия уже не будет.

Рассказать об этой беде — некому. Всякий станет смеяться над тобой, а про себя думать: «я ведь тоже умру». Сочувствия не дождешься.

Был только один выход — самообман. К нему прибегают люди, отвлекая себя чем угодно от этой — сводящей с ума — пустоты. Кто занят политикой, как медведь Глобов, кто вроде Марины... Марина! Вот где нужно искать спасение! В этой женщине, самой красивой из всех женщин каких он знал.

Юрий привстал, вынул сигареты и закурил, чтобы лучше схватить скользящее из головы решение. И выпуская дым изо рта, чувствовал, что он жив, и курит, как полагается, и затягивается по-настоящему, и выпускает дым изо рта, как мертвые не могут. И радуясь этому, выпускал изо рта дым, и курил, и опять радовался.

Марина и впрямь была достойным занятием. Он сам, задолго до этой ночи, интуитивно, как лошадь в буран, выбрал верный путь. Он объявил себя средством, всего лишь средством ее красоты. Он восхищался и потакал, желал и раболепствовал. И не раз был унижен и брошен, как сегодня — во время танцев. Но только теперь Юрий мог, положа руку на сердце, сказать, что сделал открытие, может быть, позначительней Архимеда.

Пусть точкой опоры послужит ему Марина! Эта недотрога, возмнившая себя целью мироздания, станет средством от бессонницы. А целью, целью будет он сам и его победа над нею. Он поразит Марину тем же оружием, применит любые средства, чтоб доказать свое превосходство.

— Боже, как унизительно будет Ваше паденье! Я уж позабочусь, поверьте моему скромному опыту!

Юрий свернулся калачиком и, предчувствуя, что сладко заснет, улыбнулся себе широко и умиротворенно, как давно никому не улыбался. Ему казалось что он будет жить долго-долго, что он всех переживет и, может быть, даже никогда не умрет. Но лампу он все же не выключал.

◆

Пластинка была разбита, и вечер испорчен. Муж перешел границы ее терпения. Как только откланялись последние гости, Марина объявила войну.

Владимир Петрович довольно успешно парировал первые удары, отметив, что порядочная женщина, танцующая танго, не позволит Карлинскому гладить себя по спине. Тогда она припомнила ему гипсовый бюст, и вульгарную речь за столом, и следователя, с которым он шушукался чуть ли не весь вечер, и, не дожидаясь ответа, сходу повела развернутое наступление.

Ее лицо светилось от гнева. Раскаленное добела, оно было острием, готовым вонзиться, а тело, обтекаемое, как торпеда, — целясь наверняка — нетерпеливо подрагивало.

Крутые меры не пугали Марину. Она понимала, что на войне сострадание так же опасно, как измена. Ей казалось бестактным — пули дум-дум и ядовитые газы считать негуманным оружием. Марина была достаточно умна, чтобы догадываться о том, как больно умирать обожженному обыкновенным термитом.

— Ах, так? — сказала она, услышав какую-то резкость. — Знай же — ребенка у нас не будет: я сделала аборт.

Это было подобно взрыву атомной бомбы: число жертв и разрушений в первый момент установить невозможно. Все стерто с лица земли и сражаться больше не с кем. Но где-то, на окраине, хоть один человек, да уцелеет.

Он встает, и встряхивается, и крутит в пальцах чайную ложечку, залетевшую к нему в рукав с витрины какого-нибудь (тоже взорванного) ювелирного магазина. И видит, что кроме этой ложечки ничего у него нет — ни дома, ни семьи. Потом вспоминает дальше и видит, что долгожданная дочка погибла при катастрофе и, сворачивая ложечку в задумчивый узелок, замечает еще, что вдвойне опозорен — как муж и как прокурор. И не понимает, что же делать ему с исковерканной ложечкой, а также — при чем здесь гражданин Рабинович, когда его собственная жена... И говорит:

— Что ты наделала! Что ты наделала!

И чтобы не убить, дает пощечину.

Чтобы он ее не убил, Марина скрылась у себя в комнате. Она не плакала. Сидя перед зеркалом, она гладила пуховкой оскорбленную щеку и подбирала перекошенный от боли рот, казавшийся слишком большим для ее лица.

### Г Л А В А Ш

«Спартак» наступал. Центр нападения — заслуженный мастер спорта Скарлыгин — пробивался к воротам противника. Счет был 0 : 0. У всех занялся дух.

Тысячи зрителей, в том числе прокурор Глобов, впившись глазами в тело прославленного спортсмена, объединенным усилием толкали его вперед. Но тысячи других воль, что боролись на стороне «Динамо», воздвигали на пути Скарлыгина бесчисленные преграды, желали ему споткнуться, упасть, сломать шею. И потому мяч, ринутый могучей ногою, не летел по прямой, как можно было от него ожидать, а метался растерянно, путаясь в бутцах и приводя в замешательство игроков.

Владимир Петрович изо всех сил старался помочь «Спартаку». Напрягая мускулы, он видел, что оборона противника начинает слабеть. Удвоил натиск — она поддалась. И тогда, очертя голову, он ударил, и еще раз ударил, и еще, и еще...

Футбольный матч — в острейшие секунды игры — все равно что обладание женщиной. Ничего не замечаешь вокруг. Одна лишь цель, яростно влекущая: туда! Любой ценой. Пусть смерть, пускай что угодно. Только б прорваться, достичь. Только б заслать в ворота самой судьбою предназначенный гол. Ближе, ближе, скорее... И уже нельзя ждать, нельзя отложить до другого раза... — Ну, я прошу тебя, Марина, понимаешь, прошу!..

Центр нападения Скарлыгин подобрался к воротам «Динамо». Вратарь Пономаренко, по-мальчишески юркий, пританцовывал от нетерпения, готовясь к прыжку. А сзади уже наседали запыхавшиеся защитники. — Бей, Саша! Бей! — стонал стадион.

Пономаренко покатился кубарем, прижимая мяч к жи-

воту. Скарлыгин тоже упал, но сейчас же вскочил на ноги, подброшенный ревом толпы. Он уже не мог остановиться, потому что цель, ради которой ему пришлось столько выстрадать, была рядом, и тысячи людей требовали победы, и до конца игры оставалось полминуты. Скарлыгин нанес удар. И еще раз ударил, и еще...

...Когда объявили ничью, Владимир Петрович обиделся:

— Гнать надо судью. Непорядок — забитый гол отмечать.

— А твоего Скарлыгина — судить за грубое нарушение правил, — подсмеивался следователь Скромных, известный своими симпатиями к «Динамо». — Разве это допустимо? Живот у человека — самое деликатное место. Простым кулаком убить можно.

— Но мяч все-таки в воротах?! Так или не так?

Обе команды уже уходили с поля — в пыли, тяжело дыша, под звуки спортивного марша. Плелся маленький Пономаренко, согнувшись в три погибели. Хромал исполин Скарлыгин. Ему свистели, улюлюкали со всех трибун стадиона. И он еще жалобнее волочил здоровую ногу, чтобы чем-нибудь оправдать свою проигранную победу.

— А я понимаю Скарлыгина, — рассуждал Владимир Петрович, дожидаясь, пока схлынет народ. — В горячке не разбираешь. Бьешь — и все тут. Когда ворота рядом — миндальничать не приходится. Все способы допустимы...

И он принялся проводить какие-то аналогии, затронул политику и еще что-то. Аркадий Гаврилыч плохо его слушал.

— Антисемитизм во имя интернационализма, или интернационализм во имя антисемитизма? — переспросил он, явно не улавливая, о чем идет речь.

Глобов начал объяснять, но тот перебил с полуслова. Видать, ни за что не желал уступить первенство «Спартаку»:

— Все это верно... Однако футбол — не политика. И вообще, знаешь, не люблю я в высокие материи забираться. Это уж твое прокурорское дело теории подводить. А я — практик. Растолкуй мне лучше историю с твоим Рабиновичем.



Сереза с вокзала проехал прямо к бабушке.

— Ты вырос и загорел.

Не вставая, она протянула руку.

— Ну куда целоваться лезешь? Погоди — допечатаю страницу.

И застучала в машинку.

— Как дела с картошкой? Дождей испугались? Тоже мне — детки! Мы в твои-то годы по тюрьмам сидели. Есть хочешь? Возьми за окном, разогрей. Да рассказывай ты, рассказывай побыстрее. После успеешь поесть.

Бабушка удивительная. Если б все такими были, коммунизм давно наступил бы. Ее бы — в колхоз. Она — им покажет!

Но выслушав Серезу, Екатерина Петровна молчала. Потом еще свирепее забила в клавиши. Пишущая машинка трещала, как пулемет. Бабушка, попригнувшись на стуле, расстреливала в упор, не целясь.

— Так и знала — опечатка. Придется переписать. Это — все ты виноват: под руку разговариваешь.

Она вложила новую обложку. Сереза терся щекой о спинку стула, заглядывая через плечо.

— Целую страницу? Заново? Из-за одной опечатки? Все равно книга твоего писателя никому не нужна.

— То есть как это не нужна? — изумилась Екатерина Петровна. — Ты сам говоришь — в отдельных колхозах еще есть недостатки. А здесь, — она ткнула в рукопись, — дан образец. Электродоилки, электроплуги. Пусть берут пример. Язык, правда, плох и любви слишком много.

— Я читал, — отмахнулся Сереза. — Все это одно сплошное образцово-показательное вранье.

— Тише! Опомнись!

Но Сереза будто катился с горы: — Я знаю... Я сам видел...

Тогда она поднялась. Если б не морщины — девочка, ну просто — девочка. Стриженная, стройная, в белом воротничке.

— Это, это... Ты отдаешь себе отчет, что ты говоришь?

— Знаю... видел... — не унимался Сереза.

— Ничего ты не знаешь. Это враги говорят. Те, кто против... Как ты можешь? Нет, как ты можешь?

Бабушка задыхалась. Сухие, как сено, космы лезли в разные стороны.

— Все я не против... Я и жизнь, и что хотите. Ты, бабушка, вроде отца. С вами и поговорить невозможно. Вот если бы мама была жива...

Он всхлипнул и сразу стал маленьким. Милый, глупый ребенок, сиротинушка ты моя. Ей хотелось поплакать вместе с Сережей. Но она понимала — нельзя — надо пресечь — надо быть строгой.

— Не реви. Ты же взрослый. Мы в твои годы по тюрьмам сидели. Революцию делали.

А он уже ревел, уткнувшись в ее колени Светлый пушок вился на затылке.

— Сегодня же пойдешь в парикмахерскую. Успокойся, врагом народа никто тебя не считает. А вот самоуверенность у тебя отцовская. Ну, что ты в жизни видел? Не реви.

Сережа слушал, как вздрагивают его лопатки и, удивляясь этому, плакал еще сильнее.

— И с отцом меня, пожалуйста, не сравнивай. Мы с ним — разные люди.

— А мы с тобой? — спросил Сережа, не подымая лица.

Он знал, что об этом спрашивать стыдно, но раз уж он плачет, как маленький, — все равно.

— Домой тебе лучше пока не ходить. У них там семейные дразги. Поживешь у меня.

— А мы уживемся, бабушка? Я своими принципами не поступлюсь.

— Какие у тебя принципы! Ты думаешь, я старая, ничего не вижу, не замечаю. Я, может быть, побольше тебя плохого знаю. Но, Сережа, ведь ты сам понимаешь — надо верить, обязательно надо верить. Ведь этому вся жизнь отдана, это — цель наша...

Сережа лег на спину и открыл глаза.

— Знаешь что, бабушка, — сказал он счастливым, сырым голосом. — Я пришел к выводу: нам только одно теперь может помочь — мировая революция. Ты как считаешь — мировая революция будет?

— Ну, разве можно в этом сомневаться? Конечно — будет! Давай-ка я тебе поесть разогрею, — сказала бабушка.



Не зная куда деваться, они забрели в планетарий. По крайней мере здесь дешевле и темнее, чем в ресторане, — смекнул Юрий. А домой к нему Марина идти пока что упрямылась: должно быть, не подошло еще время.

Над ними — по всему куполу — разожгли мироздание. Оно повисло миллиардами звезд и тихонько крутилось, по-

скрипывая на поворотах, будто настоящее небо. Оно раскрывало мохнатые недра и, вывалив содержимое, позволяло удостовериться, что бога — нет.

Вселенная была пуста. И эта пустота была до того огромна, что невозможно представить, и до того бесцельна в своей бесконечности, что Юрию снова, как тогда, в постели, стало не по себе.

К счастью, на этот раз рядом сидела Марина. В темноте от нее духами пахло сильнее, чем на свету. Ее присутствие убеждало, что ты тоже существуешь. Больше того, оно вносило какой-то смысл в эту звездную бессмыслицу, распавшуюся над головой. Оно напоминало про цель, за которую надо бороться. И Юрий, как было намечено, принялся объясняться в любви.

Он говорил все те милые глупости, какие употребляли влюбленные, дескать, не в силах жить без нее, и мучается, и не спит. Марина не отвечала, но ее дыхание стало настроженным, и он решил полностью провести задуманный план.

Суть его состояла в том, чтобы притвориться несчастным. Нет, на ее жалость Юрий и не рассчитывал, он делал ставку на лезть — это гораздо вернее. Всякой женщине лестно, что из-за нее страдают, а если она честная женщина, она захочет отблагодарить. И Юрий рассказывал ей на ухо, какой он слабый и маленький, и, унижая себя, потакал ее самолюбию, ибо она должна была думать, что ничтожен он по ее вине.

А в небе тем временем стало светлее, потому что взошло солнце. Оно было большое, как дыня, и заставляло бегать за собой мизерные планеты. Всем этим устройством управлял астроном-профессор, притаившийся в углу. Он твердил, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как утверждают невежды и мракобесы.

Это рассмешило Юрия: Земля, вероятно, думает, что она — Солнце. Путь — думает. Но ему-то хорошо известно, кто из них цель, кто средство, и где настоящее Солнце. Оно вращается только вокруг себя, единственного, любимого. У Солнца других целей, кроме себя, — нет.

А сам говорил:

— Марина Павловна, будьте моим Солнцем. Ведь Ваше лицо — это центр орбиты, по которой я верчусь. Все мои лучшие качества — лишь отраженный свет Вашего великолепия...

И так далее и тому подобное — все про то, как жалок и мал по сравнению с ней — он, он! — бесценный и первый.  
— Сейчас наступит затмение, — объявил профессор загробным голосом.

И затмение началось — да какое! Таких затмений — сам профессор признался — в жизни не встретишь, а если и бывает когда, то — раз в сто лет. Солнце скрылось точно его проглотили. Под юбкой у вселенной стало совсем темно. Темнее, чем ночью, потому что ночью светит Луна, а здесь Луна только и делала, что затмевала Солнце. Лишь электрические звезды чуть заметно мерцали. Тогда он понял — пора!

Марина целовала, не разжимая зубов. И вдруг, на одно мгновение, острый язык высунулся, дважды ужалил и отскочил. И снова сжатые зубы. И уже оттолкнула. Но сомнения быть не могло: здесь, в небесной пустыне, под угасшим солнцем, Марина платила за лесть.

...Когда зажгли свет, ее лицо сохраняло надменное спокойствие, и ехать к нему на квартиру она опять отказалась.

— Чем Вы заняты? Куда торопитесь? — допрашивал Юрий.

— Важное дело, — улыбнулась Марина с таинственным видом. — А Вы, Юрий Михайлович, превышаете свои права. Уже забыли, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли?

Купол при полном освещении оказался низким и грязным. Было непонятно, как туда вмещается столько неба. Народ толпился у выхода. Там какой-то ничему не верящий старичок под общий смех доказывал, что бог все-таки есть. А малыш лет шести приставал к отцу:

— Папа, земля — круглая?

— Круглая.

— Совсем круглая?

— Да как глобус.

— А она вертится?

— Вертится, Миша, вертится, тебе же сейчас показывали.

— А солнце больше земли?

— Во много раз больше.

— Значит, все — неправда! — сказал мальчик и горько заплакал.

Над голову там и сям порхали ножницы. Перелетая от уха к уху, они щелкали. Сережа сидел в кресле, стараясь

не шелохнуться, чтобы тому, за спиной, было удобнее стричь.

Это очень неловко, когда взрослый мужчина копается в твоих волосах. Ему бы полезное дело делать, а он все свои способности тратит на парикмахерскую. А ты сидишь перед ним, как буржуй, и боишьсядохнуть.

Никелированная машина щипала шею. Было больно. В угол между глазом и носом вылезла слеза. А утереться нельзя: еще что подумает.

Великие революционеры тоже приучались заранее. Рахметов спал на гвоздях...

— Голову ниже, — скомандовал парикмахер.

Сережа согнулся, как только мог. Ему хотелось, чтобы еще больнее. Сдирайте кожу — он не уступит. Надо воспитывать волю: вдруг его когда-нибудь будут пытаться.

В руках палача сверкнула бритва. Навалившись грудью на Сережу, он подчищал виски. Потом встрепенулся и сорвал салфетку.

— Прикажете освежить?

— Не стоит, благодарю Вас, — попросил Сережа, краснея.

— Всего шестьдесят копеек, — настаивал мучитель, всем своим гордым видом выражая презрение к сережиной бедности.

— Я не поэтому. А просто я не люблю, если пахнет одеколоном.

И чтобы откупиться, он сунул ему пятерку — отец всегда давал чаевые швейцарам и шоферам...

Холодея свежим затылком, Сережа двинулся к выходу — сквозь строй одетых в белое мастеров. Каждый сжимал в руке никелированный инструмент, методично и сухо терзал своего клиента.

Чик-чик-чик,

Чик-чик-чик...

А в зеркалах подбородки, щеки, лысые и кудрявые головы. Склоненные, задранные, перекошенные, с мыльной пеной у рта.

Чик-чик-чик,

Чик-чик-чик...

Все было спокойно, гигиенично, никто не кричал и не плакал. Но даже лампочки в люстре нестерпимо благоухали.

...В передней небритые люди напряженно ждали своего часа. Заглядевшись на них, Сережа открыл не ту дверь и обомлел.

Здесь был дамский зал. Здесь красили и завивали. Над запахом неживого душистого мяса плавал чад паленых волос.

Впереди, связанная простыней, покоилась женщина. Ее лицо было густо обмазано бледнофиолетовой кашей. Оно растекалось, когда массажистка погружала в него свои холодные руки. А потом лицо закопошилось и разлепило веки:

— Как ты сюда попал, Сережа? Не бойся. Ты не узнал меня? Это же я — Марина.



Поздно вечером Глобов приехал в суд. Вахтер отпер без колебаний: он уважал причуды прокурора и был ему предан.

— Иди, старина, спать, — сказал Владимир Петрович и обласкал папирсой. А сам прошел по коридору, всюду включая свет.

Зал был пуст, и стол был пуст, и пусты судейские кресла с государственными гербами на спинках. Но вся эта деловая, знакомая до мелочей обстановка казалась еще торжественней, чем в дневные часы.

Прокурор любил приезжать сюда в нерабочее время и готовить обвинительные речи прямо на месте. Как будто не репетиция, а самая настоящая процедура шла обычным порядком — при полном составе суда, в строгой ночной тишине.

...Напрасно подсудимый пытался все запутать, отрицал свою виновность и просил прощенья.

— Нет, гражданин Рабинович, не Вам взывать к милосердию! Вспомните лучше о матерях, которых Вы калечили. Подумайте о несчастных отцах — они так и не дождались ребенка! О детях, наших детях, уничтоженных Вами.

И молчал уличенный преступник, и молчал судья, и молчал вертлявый адвокат, похожий на Карлинского. Все соглашались с тем, что говорил прокурор.

Он обвинял Рабиновича, но помнил обо всех врагах, которые нас окружают. И потому слова его попадали прямо в цель. От незаконного аборта — один шаг до убийства, а отсюда — недалеко и до более серьезных диверсий.

И враги забеспокоились. В тишине, глубокой ночью, они строили козни. Они искали место, куда бы побольнее кольнуть. И вот встает адвокат, похожий на Карлинского, и публично объявляет: жена самого прокурора сделала недавно аборт.

Марину выводят под руки на общее обозрение. Ее лицо — и в позоре — прекрасно, как всегда. Она смотрит сквозь тебя, так что хочется обернуться, смотрит — словно за твоей спиной — большое зеркало, и она не с тобой разговаривает, а глядится в себя.

А глаза обещают, манят. Но попробуй — придвисься — опустятся пушистые веки, и с каким-то страстным презрением, всегда одной и той же, заранее заготовленной гримасой, она скривит обжигающий рот: — Ах, оставь!

— Что же, судите ее, граждане судьи! Судите, если это потребуется. Но помните, помните о врагах, которые нас окружают!

И молчит зал, и молчит судья, и такая гробовая тишина кругом, будто нет здесь ни единой души.

И снова встает адвокат, науськанный врагами, заявляя, что у прокурорского сына вредный образ мыслей. А Сережа сам подходит к столу и во всеуслышанье подтверждает: — Для прекрасной цели, — говорит, — нужны прекрасные средства.

— Глухой мальчишка! — кричит ему Владимир Петрович. — Я же объяснял тебе, куда эта доброта приводит. С твоими прекрасными средствами можно только погибнуть, а мы должны победить, победить во что бы то ни стало. Судите его, граждане судьи, если считаете необходимым! Судите и меня вместе с ним за проявленную мягкотелость! Пусть лучше пострадают десятки и даже сотни невинных, чем спасется один враг...

Когда прокурор Глобов представил себе эту картину и на суде собственной совести взвесил все аргументы, обвинительная речь была уже готова. Не написанная на бумаге и даже не произнесенная вслух, она звучала в ушах исполненным приговором и просилась наружу — в слово. Тогда Владимир Петрович выпрямился и, пристально глядя в круглый герб, украшающий судейскую спинку, громко, так чтобы слышно было во всех концах зала, отчеканил:

— Мы не позволим никаким Рабиновичам подрывать наше общество в самой его основе! Мы не дадим врагам уничтожить нас, мы сами их уничтожим!

Потом он обошел пустое здание, медленно, по всем коридорам. Каждый закоулок осматривал — нет ли кого? Взобрался на второй этаж и тщательно, по-хозяйски, проверил все двери, все запоры. В этом доме он — хозяин, потому что обвиняет здесь — он.

И слышит Владимир Петрович, как внизу, в оставленном зале, продолжается церемония, пущенная им в ход.

— Суд идет!

— Суд идет!

— разносится повсюду: по его обвинениям ведут дела, выносят решения, кого-то привозят и кого-то увозят.

А кто обнаружил Рабиновича, открыл эту цепь процессов? — прокурор Глобов. Кто в трудную минуту заменил и судью и присяжных? — Опять же — он и никто другой. Первый, когда другие молчали, он встал и обвинил. Все думали: Рабинович — пустяк, анекдот, жалкий смешной человек, а он обвинял, не слушая ни свидетелей, ни адвокатов. Еще ничего, ничего не было. А он уже обвинил. С этого все и началось.



Когда Владимир Петрович обходил второй этаж, он заглянул между прочим в дамскую комнату, какая бывает в любом учреждении — есть она и в горсуде. Зашел он туда не из любопытства, а для проверки — нет ли кого? Там было пусто, и только надписи на стенах задержали его внимание. Он прочел, усмехнулся, подумал, что надо сказать вахтеру, чтоб завтра же стерли, и забыл про них. Но я эти надписи помню.

В общей уборной, запершись в маленькой тихой кабинке, ты, наконец, остаешься один на один с самим собой. Здесь ты можешь делать, что хочешь. Никто не увидит, не помешает. Мужчины обычно в таких случаях пишут одни непристойности. Женщины оказались лучше нас, они пишут слова любви и негодования.

Коля, береги себя.

Твоя мама.

Петр! Ненавижу тебя!

Твоей не буду.

Милый Федя, я Вас люблю.

Вспомни, где будешь.

И десятки других фраз, все про любовь и разлуку. Тот, к кому обращены эти слова, никогда о них не узнает. Да и написано все это не для читателя. А просто брошено в пространство, на ветер, в самые дальние дали. Только Бог

или случайный чудака-любитель может подобрать эти молитвы и заклинания.

Я хотел бы также верить в слово, как верят эти женщины. И сидя в своей комнате, похожей на туалетную кабинку, глубокой ночью, когда все спят, писать слова, короткие и прямые, без задних мыслей и адресов.

В начале было слово. Если это правда, то первое слово было таким же прекрасным, как надписи в женской уборной городского суда. Когда оно произнеслось, мир начал жить наподобие прейскуранта. Всюду висели дощечки с названиями — «елка», «гора», «инфузория». Из бессловесной пустоты вылуплялись планеты и звезды. И каждая вещь была вызвана своим словом, и слово было делом.

— Судебным делом, — поправляет меня Хозяин. — Ты слышишь, сочинитель! Уж если слово — так обвинительное слово. Уж если дело — судебное дело. Слово и дело!

Я слышу.

Суд идет, суд идет по всему миру. И уже не Рабиновича, уличенного городским прокурором, а всех нас, сколько есть вместе взятых, ежедневно, еженощно ведут на суд и допрос. И это зовется историей.

Звенит колокольчик. — Ваша фамилия? Имя? Год рождения?

Вот тогда и начинаешь писать.

## Г Л А В А IV

На собрание у Зоопарка явилась одна Катя.

— А где остальные? — спросил Сережа. — Неужели струсил? Ведь мы еще в колхозе обо всем договорились.

— Парамонов не придет, у него сегодня в институте семинар по марксизму.

Катя прятала в рукава озябшие пальчики.

— Квалифицирую это как заурядную трусость. Вот Вы, Катя, Вы же пришли. У Вас в школе тоже, небось, утреннее расписание. А Вы не испугались.

— И Вы, Сережа, Вы.

Она задыхнулась от этого «Вы», интимного и почтительного. Ей все говорили «ты» — учителя, подруги, кондуктора троллейбусов и трамваев. И вдруг, точно они влюбленные — «Вы, Катя», «Вы, Сережа». А Сережа все нажимал: Вы, Вы. Дело предстояло опасное, от детских привычек пора отвыкнуть.

— Вы посмотрите, Катя, — он показал в сторону Зоопарка. — Это похоже на планету Марс. Там, говорят, вся растительность красная, а не зеленая.

Осень была в самом разгаре. Деревья в парке переменили расцветку. Они покачивали фантастической, не по земному красной листвой. И хотя Катя ничего не знала о других планетах, она радостно закивала своими большими очками.

— Да, Вы правы, совсем как на Марсе.

В кассе Зоопарка они купили билеты по два рубля — для взрослых — и вошли.

Все бежали смотреть зверей, а здесь, в начале марсианской аллеи, у пруда, где уже перевелись слишком южные пеликаны, почти никого не было. Только пара молодых людей в одинаковых демисезонных пальто и одинаковых

шляпах. Один из них совал прутик сквозь решетку, стараясь привлечь внимание диких уток, дремавших на берегу. Время от времени он даже кричал по-утиному. Но, видно, его криканье было недостаточно натуральным, потому что умные птицы не откликались.

— Присаживайтесь — сказал Сережа. — Здесь вполне безопасно. Предлагаю обсудить программу нашего общества.

— А как будет называться это общество, — спросила Катя и тут же предложила: — Давайте ему придумаем красивое, звучное имя, вроде «Молодой Гвардии». Например, «Свободная Россия».

— Видите ли, Катя, из достоверных источников нам известно: за границей уже есть такая шпионская радиостанция — «Свободная Европа». Могут решить — мы с ними заодно. Необходимо отделить себя от всех врагов. А то империалисты воспользуются.

Сережа воодушевился. Он снял кепку, не боясь простудиться, и размахивал ею в такт словам. Перед Катей открылся мир, коммунистический и лучезарный.

Самую большую зарплату получали уборщицы. Министры же для пущего бескорыстия находились на скудном пайке. Денежную систему, пытки, воровство — отменили. Наступила полная свобода и уж так хорошо получалось, что никто никого не сажал, а каждый имел по потребностям. На улицах были расклеены плакаты Маяковского. И еще другие, сочиненные Сережей: «Остерегайся! Ты можешь оскорбить человека!» Это на всякий случай, чтоб не забывались. А кто забудет — расстрел.

Впрочем, в сережином изложении все выходило куда более стройно, и Кате оставалась неясной только одна деталь: сейчас же силой оружия свергнуть правительство или, может, повременить, пока другие страны не покончат с капитализмом? Сережа советовал подождать мировой революции, но признавал, что потом, как это ни печально, придется все-таки свергнуть.

Катя попросила внести в программу еще один пункт: о совместном обучении юношей и девушек в старших классах средней школы. И, тронув сережину кепку, робко добавила:

— Раз уж мы все равно в зоопарке, давайте посмотрим тигра.

Сережа недовольно нахмурился.

— Это для пользы дела, для конспирации, — пояснила Катя.

— Ну, что ж, — разрешил он, подумав. — Для конспирации — можно.



— Старики-фламандцы писали нагое тело как грудку всяческой снеди. Вы посмотрите, в этих фламандских дамах есть и сливочное масло, и свежие булочки, и свой дамский изюм.

Карлинский скосил глаз на Марину. Та слушала его с независимым видом. Будто все, что он говорил, было ей хорошо известно. Она делала одолжение, позволяя водить себя по музею.

Вокруг висели женщины и натюрморты. На пышных задах морщинилась чуть заметная рябь. Так бывает с чаем на блюде, если легонько подуть, чтобы он простыл побыстрее. Или — когда потрогаешь слишком спелое яблоко. Сквозь бледножелтую кожуру проступят теплые пятна — следы прикосновений.

Среди этой разнузданной плоти Марина была самой одетой. Карлинский начал издали.

— Почему мы так говорим: «познать женщину?» Что общего между познанием и любовью? По какой такой причине первородный грех случился не где-нибудь в кустах малины, а под яблоней познания?

Марина лизнула кожу над верхней губой. Кожа была нежна и сладковата на вкус. От этой заграничной мастики лицо становится гладким, как паркет.

— Всякое познание состоит из двух, я бы сказал, элементов: связь и различие. Не правда ли, познавая любую вещь, мы, во-первых, связываем ее с другими, во-вторых, отличаем от других вещей как нечто оригинальное. В половом акте, — извините меня за вульгарное выражение, — и заключены первоэлементы познания. Адам и Ева слились в любовных объятиях и тут же поняли разницу: где мужчина, а где женщина. Связавшись, они различились, а различившись, связались. И таким образом познав себя, принялись познавать остальное.

Марина уселась перед «Вакханалией» Рубенса, открыла сумочку и еще раз, на всякий случай, осмотрела себя. Ее лицо не умещалось в круглом зеркальце. Нужно долго крутить головой, чтобы проверить все.

— Продолжайте, Юрий Михайлович. Итак, мы остановились на первородном грехе. Дальше что?

— С первородного греха и началось познание мира. Мужчина и женщина, свет и тьма, добро и зло, пока Гегель не назвал все это единством противоречий. Но в основе человеческой мысли, дорогая Марина Павловна, в самой последней основе, — сокрыт половой акт, два сопряженных органа, столь непохожих друг на друга. Головной мозг — всего лишь познающий придаток наших сексуальных частей.

— Это — остроумно, — заметила Марина, не улыбаясь. Она отдавала должное изобретательности Юрия, но понимала, что красивая женщина обязана не удивляться, хотя бы перед ней демонстрировал свои теории сам Гегель.

— А как же звери, Юрий Михайлович? Они ведь тоже, так сказать, размножаются. Однако философское мышление почему-то им не под силу.

У Карлинского звери были уже учтены: звери не имеют стыда, в стыде же вся суть и любви, и познания.

— Пройдемте в древний Египет и там доберемся до сути, — сказал он, вытирая пот со лба.

Их разговор приобретал почти научный характер.



В зимних помещениях было тепло и мокро, как в оранжереях: зверей подогревали. Но лишь одни змеи, уютно свернувшись под стеклом, чувствовали себя дома. Остальные жили здесь будто на вокзале. Слонялись из угла в угол, беспричинно почесывались, ждали.

— Они ждут свободы, — определила Катя. — Они мечтают вырваться из этой вонючей тюрьмы.

В тесных простенках, скудно посыпанных сеном, подскакивают на своих костылях австралийские кенгуру. Обезьяны торопливо разучивают жесты интеллигентного неврастеника. Как пишущие машинки, стрекочут попугайчики, собранные в общей камере. Непоправимо одинок слон.

На осеннем холодке мало кто остался: волки, неотличимые от собак, рыси, похожие на увеличенных кошек. Всеобщее любопытство возбуждала овца. Должно быть, ее посадили в клетку за недостатком настоящих зверей или для полной научности. Раз уж сидит за решеткой, значит — не зря.

Катя от всего сердца жалела и волков, и медведей. Она склонялась к тому, что зоопарки вместе с тюрьмами следуют упразднить. Сережа резонно ей возражал: наука требует жертв. Во имя мирового прогресса. Но в будущем об-

ществе зверинцы сплошь перестроят. Вместо этих конур — просторные, светлые клетки. Колючая проволока в виде древесных ветвей, чтобы не так заметно. Звери будут чувствовать себя почти на свободе.

Слушая его речи, Катя всплакнула.

— А вдруг они не поверят, что это для ихней же пользы? Сережа, милый, я не могу, не хочу, если тебя арестуют. Куда же я денусь?

Сняз закапанные очки, она стала беспомощной, как все женщины. Ее утешать было досадно и сладко. Но вот, связался с девчонкой! А еще собиралась тигра смотреть для конспирации. Если бы не борьба впереди, он бы ее полюбил. Рахметов тоже подавлял в себе всякие личные чувства. И Павел Корчагин.

Ему было жалко себя — такого хорошего, такого честного, готового погибнуть за всех.

В хищном отделе им снова встретилась пара демисезонных пальто. Одно из них говорило, обращаясь к леопарду:

— Что ты можешь, зебра, по сравнению с человеком? Гляди-ка, Толя, хвостом вильнула, облизывается. А шкура вся в родинках. Такую бы зебру дома над кроватью повесить!

Леопард смотрел на него круглыми, детскими от изумления глазами. Он удивлялся этой живой пище, завернутой в пальто и в брюки, точно конфетка — в бумажку. Леопард, вероятно, был из вновь прибывших и еще плохо разбирался — что к чему.

Тигр спал на правом боку, прислонившись к решетке. Его спина была совсем полосатой. Казалось — на ней отпечатаны прутья, к которым он привалился.

Когда отворяли дверь на улицу, звери воинственно озирались и вскакивали. Они суетились, словно пассажиры на провинциальной станции перед приходом поезда. Близилось время обеда.

Только тигр не шевелился. Он спал как убитый



Прокурор повернулся на левый бок. Он любил спать днем, после ночной работы. Тело отдыхает, но ум бодрствует, когда вокруг светло. И спится как-то спокойнее.

Засыпая, мы словно садимся за телевизор, который забыли настроить. Вещи расплываются, дали гаснут, люди ватными ногами вышагивают по ватной земле. Ты не раз-

личаешь черты приснившихся родных и знакомых. Все видишь не в фокусе. Но всему заранее веришь, как малолетний ребенок. Вот это — Марина, а это — Карлинский, и он ей говорит:

— У богов и животных нет стыда. Стыд — наша монополия. Когда Адам и Ева превратились из обезьян в человека, они устыдились. Грехопаденье — познание — стыд. Не разорвать!

Лицо Марины струилось в разные стороны. Карлинский тоже имел довольно прозрачный вид. Его ладони плавали в темном воздухе, как две медузы — поднимаемая и опускаемая. Он таял в улыбках и недомолвках.

— Стыд — это табу, которое мы нарушаем. Потому и нарушаем, что стыдно. Совершать недозволенное — что может быть человеку приятнее? Тут — все наше отличие от богов и животных тварей...

— Это ты — тварь, — хотел ответить Глобов и онемел. Телевизионный экран вырос, будто в него вставили линзу. На переднем плане вспухло звероподобное существо с кошачьими лапами и женской мордой.

— Предпочитаю сфинксы, — объявила Марина. — Они гораздо красивее Ваших стыдящихся обезьян.

— Сами Вы египетский сфинкс! — возопил Карлинский, радостно ужасаясь. — Вас бы сюда в музей, в качестве экспоната!

Его тощая фигура расплывалась в туман. Владимир Петрович стоял в Египте имени А. С. Пушкина. Музейные залы походили на зоопарк. Разные древние народы до того были забиты и суеверны, что поклонялись даже львам и баранам. Но рисовать они умели еще очень плохо: к человеческим ногам прилаживали звериные головы или наоборот.

Разглядеть все эти подробности не хватило времени. Перед ним, на мраморном пьедестале, вытянув передние лапы, гордо возлежала Марина.

— Кис-кис-кис, — поманил ее Глобов.

Она подползла ближе. Жаль, что я сплю, и хорошо, что испарился Карлинский, — успел он вспомнить, когда Марина, мяукнув, положила ему на плечи свои когтистые лапы. Ее лицо дымилось, как чашка черного кофе. И он пригубил душистый напиток, засыпая все глубже и глубже.



Карлинский долго стоял над базальтовым зверем. С трудом выдавил очередной афоризм:

— Скотоложество наказуемо по уголовному кодексу, дабы не было столь привлекательно для человека.

— Это Вы про кого? — очнулась Марина.

Они смотрели еще французов, но Юрий не реагировал даже на Ренуара. С этой проклятой Изидой хоть беседуй об акушерстве: ни стыда, ни любопытства. Точно животное. Или в самом деле — богиня...

— Меня, Марина Павловна, тоже прельщают сфинксы. Тому, кто познает Вашу хвостатую даму, быть может, открываются тайники мироздания?

— Может быть, — ответила Марина, придавая лицу загадочное выражение, как это и подобает сфинксу.



Не успел Глобов открыть глаза, как откуда ни возьмись появился гражданин Рабинович. Он отбывал наказание при Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, работая в должности экскурсовода. Что за преступное ролеизыступление определить его сюда!

Наглый и навязчивый, как все евреи, он дал понять: ему-де свыше поручено соприсвождать прокурора. После сфинксовых ласк (подглядел, сволочь!) тот, мол, обязан volens nolens познакомиться с кое-каким секретным материалом.

— Только смотри — чтоб мистики ни-ни!

— Ладно, — обещал Рабинович.

Над пневматической дверью светилась цитата из сочинений Хозяина:

### ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ РОЖДАЕТ ВЕЛИКУЮ ЭНЕРГИЮ.

За цитатой — пространство, стеклянная банка — в центре, а в банке — заспиртованный мозг, извилистый, как земная кора. Его полушария медленно колыхались. Вдруг, по тонким трубкам, сквозь реторты и колбы, через перегонные кубы, побежал зеленоватый раствор.

Рабинович хихикнул:

— Всякий раз, попадая сюда, я немножко пугаюсь.

Дрогнувшим пальцем он ткнул студенистый комок. Тот продолжал пульсировать как ни в чем не бывало.

— Не слышит. Все думает и думает, идеи изобретает. Может, у него на родине была любимая девушка. А чтоб на свиданье сходить — ног нету. На его извилинах разве далеко уползешь?...

Я волнуюсь, гражданин прокурор, как бы от этих непрерывных раздумий он с ума не спятил. Ведь вся мировая цивилизация насмарку пойдет! Мы какой-то дурацкий атом расщепили и уже беспокоимся. А тут, в этой банке, представляете, — цепная реакция мозга. Взрывы идей, самумы рассеянных мыслей. Чуть не доглядел — куда там водородная бомба! Не только наша скромная планета, галактика на куски разлетится. Я, по правде сказать, опасаясь за Бога...

— Не развалится твоя галактика, не допустим, — ободрил его Глобов. — А про бога ты забудь, бога идеалисты придумали... Признайся-ка, Рабинович, что это за идеи производятся тут? Уж не реакционный ли какой вздор лезет из мозговой реакции?

— Что Вы, гражданин прокурор! — обиделся Рабинович. — Одни только высокие цели, великие идеалы. От них — все остальное, по закону диалектики. Культуры там разные, ренессансы. У нас без обмана. Желаете лично убедиться?

— Ну, давай, действуй! Да побыстрее. А то некогда мне: проспать пора.



— Заявляю Вам откровенно, как на страшном суде. Не мне, старому иудею, защищать дело Христа. Но ради объективности должен отметить: у него имелась, гражданин прокурор, тоже благородная цель.

Бывший врач-гинеколог вперила глаза в потолок. На его иссохших щеках заиграл лиловый румянец.

— Сына человеческого посадить на Божий престол, ближнего возлюбить больше, чем себя самого — очень все это прогрессивно, говоря между нами, для того исторического этапа, конечно. Ну, а что получилось? Нет, Вы только послушайте, что из этого получилось!

С верхнего этажа доносился стук молотков. Это отбивали ручки у какой-то милосской венеры. Запахло перепревшим мясом — горели еретики.

— Сейчас гугенотов будут резать! — радовался Рабинович. А прокурор недовольно ворчал:

— Экое варварство! Я еще понимаю — идолопоклонники, мусульмане, крупные идейные разногласия. А здесь и разницы почти никакой — единоверцы.

— Для Вас никакой разницы. А по их непросвещенному мнению гугеноты, может, дьяволу продались? Ведь нельзя допустить, чтобы два христианства сразу? Это такой же нонсенс, как два социализма. Взять хотя бы нашего Тито...

— Тито — фашист, шпион, американский прислужник!  
— Ну да, я и говорю: дьяволу продались.

Их спор был прерван праздничным ликованием. Над осатанелой толпой, лихо раскинув кровоточащие руки, кокетливо изогнувшись на золотом кресте, отплясывал победный танец Иисус Христос.

А вокруг уже шептались средневековые паникеры и нытики. Дескать, за что боролись? Измена! Перерождение! Дескать, от великой цели остались одни средства, она их оправдала, они же ее скомпрометировали.

— А я про что говорю? — суетился Рабинович. — Каждая порядочная цель сама себя поедает. Из кожи вылезаешь, чтоб до нее добраться, а чуть добрался — глядь — все наоборот.

— Просчитались твои иезуиты, допустили ошибку.

— Ни малейшей ошибочки. Законно. Что цель оправдывает средства — это всякий культурный человек понимает. Открыто ли, тайком, но без этого с места не сдвинешься. Если враг не сдастся, его уничтожают. Скажете — нет?

А раз хороши все средства, значит, действуй решительно. Во имя Господа Бога самого Бога не пожалей. Тут ей конец, следующая цель выползает на авансцену истории. Смотрите, смотрите, гражданин прокурор, — новенькая, как из магазина.

Опять, словно книжка с картинками, распахнулись стены музея. Нарисованные ангелы забили нарисованными крыльями.

— Снова ты мне поповские агитки подсовываешь, — нахмурился Глобов.

— Как можно, гражданин прокурор. Сплошной Леонардо да Винчи. Индивидуализм. Просвещение. Свободная мыслящая личность. Та самая личность, что взамен Христа утвердилась и постепенно буржуазные порядки кругом себя развела. Но пока — взгляните — разве такая цель не достойна любых средств? Грация, эрудиция, марципан!

— Я не желаю больше смотреть, — отвернулся Глобов, предчувствуя какой-то подвох.

Но Рабинович будто не слышал:

— Во имя этой свободы одна личность другой лично-

сти начинает кишки выжимать. Видите, как конкурируют? Теперь и до новой цели недалеко. Во имя коммунизма...

— Замолчи! Останови эту машину!

Но было уже поздно.

«Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья, а затем...»

Пли!

## Г Л А В А V

Владимир Петрович достал Сереже гостевой билет, и военным парадом они любовались вместе.

Площадь в танках и в пехоте была видна хорошо. Но главная трибуна осталась далеко сбоку, и что творилось там, Сережа не мог разглядеть.

— Улыбается! — заметил отец, ухитрившийся каким-то чудом быть в курсе всего. Сережа приподнялся на цыпочки и опять ничего не увидел, кроме голубых пятен с золотой каймой. Ему казалось, что отец выдумывает, но сзади кто-то солидный констатировал откормленным басом:

— Да, улыбается и сделал вот так.

— Не так, а вот эдак, — поправила костистая дама, вооруженная театральным биноклем. И тут же заскулила:

— На небо смотрит, сокол ясноглазый! На своих соколят!

Бомбовозы шли сомкнутым строем. В их прямом, тяжелом полете заключалось столько достоинства, что хотелось по-щенячьи опрокинуться на спину в знак покорности и восхищения. Но, прижимая тебя к земле, они были слишком серьезны, слишком заняты своим возвышенным, всепоглощающим делом, чтобы размениваться на мелочи и злорадствовать над тобой. Они, тараня воздух, двигались дальше, к цели, расположенной, бог знает где, и по сравнению с которой Сережа — как он сразу понял это — был попросту не нужен. Даже вся эта площадь служила им в лучшем случае временным ориентиром.

Отец уже тормошил его за плечо:

— Куда ты глядишь, Сергей? Левее, левее! Видишь — рукою машет, приветствует демонстрантов.

— Родной! Любимый! — стонала костистая дама, изви-

ваясь в левую сторону. Казалось, у нее с губ вот-вот забрызжет пена, и Сереже стало неловко за свое равнодушие. К собственному стыду он до сих пор не сумел отыскать в пятнистой кучке, шевелящейся на трибуне, того, чье гордое имя возбуждало всех, как вино.



Про него шушукались в публике. О нем чревоуещали репродукторы. Его портреты разных размеров, очень похожие друг на друга, проплывали через площадь, словно парусные корабли. Демонстранты, проходя мимо, не смотрели себе под ноги, а кривились всем телом назад, чтобы еще раз, обернуться к нему.

Но сам он, как это представлялось Сереже, странным образом отсутствовал. Все говорило, что он здесь, а его вроде и не было.

— Увидал, наконец? — допытывался Владимир Петрович. — Что ты — слепой, близорукий?

Сережа из последних сил вгляделся и к одному голубому пятну, стоявшему чуть в сторонке, добавил мысленно недостающее лицо.

— Теперь вижу.

И, набравшись храбрости, спросил:

— Он кивает, и улыбается, и машет рукой?

— Да, это — он, это Хозяин, — подтвердил отец.



На демонстрацию Юрий не пошел. Он сказался больным и все утро ловил джазы. Приемник — немецкий. Слушай хоть Би-Би-Си. Было весело прыгать вверх-вниз по всемирной шкале.

Парижскую рекламу сменяло нытье арабов. А вот сцелились хвостами две передачи. Какая-то скандинавская кирха транслировала молитвы. Тут же, невпопад, украинское контральто, промытое борным раствором, рассказывало про успехи знатного токаря Наливайки, который выполнил к празднику годовой план.

Пальцы вибрировали. В них тоже бился эфир. Радиоволны — петля за петлей — обвивали шею. В ответ, из живота, из пустой впалой груди, гудело и вздрагивало черное магнитное небо, кое-где прошитое трассирующим песком морзянки.

Юрий был антенной. А хотелось быть передатчиком. Излучать могучие волны какой угодно длины. «Внимание! Внимание! Карлинский у микрофона. Слушайте только меня, меня одного!»

Станции наперебой голосили, каждая про свои интересы. Они обступили его, как торговки на рынке. Юрий крутился, теребя ручку приемника, едва успевая настраиваться то на одну, то на другую.

Его губы напевали псалмы, штиблеты под столом выстукивали бразильское самбо. А что он мог предложить миру от своего имени? Какое еще попурри из Фрейда и гаванской гитары? Кто я и где я, оригинальный, единственный, если всем сразу пришел срок говорить?

Наконец, Юрий нащупал волну «Свободной Европы». Диктор конфиденциальным тоном (должно, сам побаивался) обещал что-то пикантное — в честь октябрьской годовщины, специально. Слово предоставили бывшему подполковнику авиации, поседевшему от многих обид на тяжелой советской службе. Но только потусторонний голос бывшего подполковника произнес — «Дорогие братья и сес...», — как послышалось гневное заградительное рокотанье. Это вступили в бой наши глушители.

От ружейного и пулеметного треска ныли барабанные перепонки. По «Свободной Европе», по американским джамам и французской рекламе шпарил ураганный огонь. На бескрайних электронных полях начиналось сражение.

Юрий проскочил мертвую зону и перевел дух. Выстрелы затихали вдали. А навстречу неслись бравурные марши и клики «ура». Первые демонстранты проходили перед трибуной.

Этого перенести Юрий уже не мог. Резко, обрывая трансляцию, он вертанул выключатель. Так сворачивают голову пойманной птице. Ему даже показалось, что хрустнули шейные позвонки.



Екатерину Петровну по привычке прокурор звал мамашей. А какая она мамаша? — уже и не теща. После второй женитьбы Глобова они почти не встречались. Но по праздникам — 7 ноября и 1 мая — он ее навещал.

Мамаша смеялась: — Что, прокурор, дела другого нет? Вспомнил о революции? И поила густым, как красное вино, чаем...

На стене — карта Кореи, утыканная флажками. Когда Сережа только родился, на том же месте висела страна Испания. Красные тряпочки, приколотые булавками, бежали по линии фронта. Старуха была консервативна в своих вкусах. Аккуратно, каждое утро, она переставляла флажки.

Он зевнул, скрипя стулом, выгибая тугую грудь, обвешанную орденами.

— Ну и пузо у тебя отросло — скоро произведут в министры. Куда только новая твоя супруга смотрит? Да ты не обижайся, я шучу. Как живешь, выкладывай. Все с женой воешь?

Обманывать ее было нельзя.

— Дома — плохо.

Под толстым слоем лица проступили скулы, желваки, челюсть — злая мужицкая худоба.

— Сами знаете, мамаша, родился и вырос я в морально и физически здоровой среде. А тут разные фигли-мигли, интеллигентские штучки. По неделям в молчанки играем, даже обедаем порознь. Точно я — не муж, а вспомогательное средство какое-то... Я — человек простой, снизу поднялся, большого положения достиг...

— Ты только не хвастай, хвастаться тебе нечем.

— Вот этими вот руками и землю пахал, и смертные приговоры подписывал...

Его кулаки, как два танка, выползли на середину стола. Не доезжая сахарницы, они стали и, царапая скатерть, гремя посудой, опрокинулись нвзничь, мясистым брюхом наружу. Владимир Петрович пожаловался на слабое сердце.

При таком высоком давлении необходим полный покой. А как тут не волноваться, когда дома — бардак, на службе — сплошные нервы, на международной арене — тоже не Кисловодск.

Под большим секретом он рассказал, что в ...гарии и ...вакии раскрыты диверсионные центры. В Н-ском обкоме группа злоумышленников готовила переворот. Враги, окончательно обнаглев, пытаются посеять панику, и самые невероятные слухи, один сногшибательнее другого, носятся по городу. То в спичках найдены бактерии рака, засланные иностранной разведкой (поковыряешь этакой спичкой в зубах — и конец!). То женщины под влиянием космических лучей вместо младенцев мужского пола рожают одних только девочек (в ущерб нашей армии!).

Уши прокурора полнились кровью, темной и маслянистой, как нефть. Распухшая шея свисла за воротник. Нужно,

охлаждение, хорошее кровообращение, громкий публичный процесс, очищающий атмосферу!

Старуха зябка куталась в шаль, объединенную молью, вспоминала каких-то знакомых из допотопных времен:

— Да, бывает... Плужников Константин — кто бы мог подумать? — японский шпион. Мне уже потом пришлось в голову: ведь этот Плужников еще в Женеве яхшался с меньшевиками... Но случается и понапрасну, невиновных...

— Вам известно, мамаша, как танки идут в атаку? — хрипло спросил Глобов и встал. — Они давят все на пути. Случается — своих же бойцов, раненых. Танку объезжать нельзя. Если он будет сворачивать перед каждым раненым, его расстреляют в упор из противотанковых пушек. Он должен давить и давить!

Больное лицо прокурора было скорбно и торжественно. Екатерина Петровна невольно встала вслед за ним.

— Что ты мне, Володя, азбуку объясняешь? Наша цель многих жертв стоит. Но только ради нее, понимаешь, ради нее одной.

И едва дотянувшись, по-старушечьи, чмокнула его в почерневшую, надутую кровью щеку. Слово и впрямь была мамой, той позабытой, неграмотной, настоящей, что перекрестила его в путь-дорогу, когда уходил из деревни...

Уже в калошах, прокурор подошел к карте. Красные тряпочки обвисли на булавках, покрылись чистой комнатной пылью. Видать, их давно никто не трогал: на корейском фронте не было перемен.



Троцкизм, чистейшей воды троцкизм! — восхитился Юрий Михайлович. Открытие превзошло самые лучшие ожидания. Да у них уже целое общество, у этих ребятшек. Мальчики и девочки занялись мировой революцией!

Катя, пока он читал программу, озиралась по сторонам. Ее подавляло это изобилие мебели, втиснутое в одну комнату вперемешку с книгами и картинками, густо облепившими стены. Здесь даже настоящая икона имелась. Не в переднем углу, а по-культурному — над радиоприемником, рядом с японской гравюрой.

— Я рад возможности ближе познакомиться с Вами, Екатерина... Извините — не знаю по батюшке.

Катя с трудом вспомнила свое отчество, стеснительное, как новое платье, на которое все обращают внимание.

— Поговорим откровенно, Екатерина Григорьевна. Наш друг выбрал скользкий путь. Так и передайте ему вместе с этим трактатом.

— Сережа? Сергей Владимирович?

О, эти очкастые барышни-подростки с непомерно большими кистями в цыпках и недоразвитой грудью! И эта первая тайная любовь на идейной основе! Самый подходящий материал для психологического эксперимента. Что-нибудь в духе старинной драмы — столкновение чувства и долга.

Он залюбовался фарфоровой группой, приютившейся на этажерке. Козлоногий сатир простер объята ускользающей нимфе. Та, прикрыв руками фасад, оставила без внимания свой не менее соблазнительный тыл. Карлинский погладил сигареткой ее голубоватую спинку.

— Революция, партмаксимум, демократическая косоворотка покроя двадцатых годов, — он помахал тетрадь, что принесла ему Катя. — Примерно в том же духе рассуждали троцкисты...

Катя была шокирована: при чем тут эти враги народа, диверсанты, вредители? Таких надо уничтожать беспощадно, как делает Берия. А сержина организация, покамест безымянная, борется за свободу, за настоящую советскую власть. Она гадливо вздрогнула, вспомнив карикатуру в газете, где Троцкий, или Тито, или еще какой продажный убийца в виде хвостатой крысы восседал со своими прихвостнями на горе из человеческих костей.

Но Юрий не стал уточнять, кто такие троцкисты. Гораздо забавнее было амплуа ортодокса. Ему, всю жизнь защищавшему мошенников да спекулянтов, выступить вдруг адвокатом первого в мире государства!

Бодро вскочив с дивана, он принял меланхоличную позу, какую обычно употреблял на защите трудных клиентов. Отцеубийцы, казнокрады, растлители малолетних нуждаются в патетике, в риторической жестикуляции. Другое дело мелкое воровство или пьяный дебош. Там не вредно и пошутить и подпустить перцу. Но крупное преступление требует сочувствия. Адвокат — это совесть преступника, оскорбленная правосудием.

— Если б я лично не знал дорогого Сергея Владимировича, не был другом его отца, наконец, не познакомился с Вами, Екатерина Григорьевна, я бы, я бы...

Длинная тень Карлинского прыгала среди японских гра-

вюр. Всплескивая руками, карабкалась на потолок. Опровергала.

— Нельзя допустить, чтобы... Всеми миру известно. Либо — либо. Пусть. Маркизм, нигилизм, наплеизм. Фракция, акция. Левацкий загиб, правый уклон. Сугубо. Требует жертв. Великой цели. Во имя. Цель. цель, цель.

— Для хорошей цели и средства нужны хорошие, — слабо сопротивлялась Катя.

Карлинский ожесточился: эта тихоня толком не знает, откуда дети родятся, а туда же, рассуждает, мнит себя Софьей Перовской.

— Средства хорошие? Мокрого места не останется ни от Вас, ни от Ваших средств... Да вы сами, дай Вам власть... Если я, например, захочу быть императором... Или, по крайней мере, взорву памятник Пушкину у Тверского бульвара... По головке погладите? Так не все ли мне равно в какой кутузке сидеть? Реформаторы! Хорошего социализма желаете, свободного рабства?..

Вовремя спохватившись, он снова перешел на общедоступный язык:

— Объективно. Логика борьбы. Колесо истории. Агенты империализма. Вспять. Кто не с нами. Окружение. В одной стране. Поистине. Объективно.

Она подавленно молчала.

— Рьянцы, контр, ксизм-сизм-сизм.

Мация-кация-зация-нация.

Нцип-нцип,

Бектив.

Гуманюция, Pferd!

Катя была сражена.

Еще Сережа предупреждал: «а то империалисты воспользуются». И вот они воспользовались — акулы капитала. Акулы и агенты, гангстеры и самураи. Изогнутые словно драконы, раздутые будто лягушки, со всех карикатур и плакатов, с японских злых картинок протянули руки, заманили в сети, окружили кольцом — враги. Кто их привел? Карлинский, все доказавший, как дважды два четыре (кация-мация, логия-могия), Сережа ли Владимирович, что заслал ее к этому типу со своей мелкобуржуазной программой? Или, может, она сама — объективно, не хотела, но, понимаете, объективно, предоставила платформу, проявила и допустила?

— Тетрадочку-то советую ликвидировать, — крикнул ей вдогонку Юрий Михайлович. — А еще поразмыслите на

досуге, что Вам дороже... Во имя... Требует жертв... Эй! Екатерина Григорьевна!..

Он вышел на площадку и слушал, как стучат ее каблучки в гулком мраке подъезда. Левица — с норовом. Но по крайней мере прокурорский сыночек станет теперь осторожнее. Пускай не впутывает в азартные игры тех, кто сохраняет свободу. Свободу оригинального мышления.

Он свесился через перила и плюнул в пролет лестницы, похожей на колодец. Ответа не было долго. У него закружилась голова от этой чернеющей под ногами каменной глубины. Зато потом влажный отзвук донесся так отчетливо, что Юрий плюнул еще раз.



От спиртного Глобов наотрез отказался — болело сердце. Ему, как почетному гостю, можно было не пить. Среди всей этой развеселой, сугубо мужской компании он один сохранял ясность взгляда, похлебывая для приличия шипучую минеральную воду.

Следователь Аркадий Гаврилыч увлек его в уголок. Под звяканье ножей и рюмок разговорец вышел интимный, любопытным ушам, если бы таковые имелись, не доступный.

— Рабинович-то твой у нас теперь обитает. Переселили. Ну и глаз у тебя, прокурор!.. Снайпер! Робин Гуд! Тиль Уленшпигель!

Воровато оглядевшись, он почти уткнулся губами в прокурорскую шею.

— Помнишь, намекал ты... еще в сентябре? Я сразу догадался... Копнули мы поглубже и, говоря между нами, дельце получилось — пальчик поближешь.

— Неужели политика?

— Шутник ты, Владимир Петрович. Будто сам не знаешь... По твоим же зарубкам все начинали... Да если бы он один!.. Тут, брат, масштаб государственный... Медицина!.. Чуешь? Все из этих... носатых... которые космополиты... Сплошняком!..

Он отскочил к столу, причитая по-бабьи:

— Насыщайтесь, ребята, не стесняйтесь! На то и мальчишник, чтоб самим угощаться!

Владимир Петрович решил досидеть до конца. Ему нравились эти ребята, сослуживцы Аркадия Гаврилыча, — с открытыми, как ладонь, лицами. с чистыми, как стеклышко, биографиями, с незапятнанной совестью. Добродушные мужчины, наводящие ужас, может быть, на полмира.

Среди них имелись таланты: рекордсмен по прыжкам в воду, другой поет, как в опере, третий художественно свистит. Все были в штатском (только Глобов в мундире), а он хорошо знал — здесь есть капитаны, майоры, даже два подполковника. Невидимая грозная армия сидела за праздничной трапезой.

Говорили о детях, о футболе. О летнем отпуске тоже. Кто хвалил Кисловодск, кто решительно предпочитал крымское побережье. Один из двух подполковников (тот, что художественно свистит) объявил о покупке «Победы»:

— Послезавтра деньги вносить, а я все цвет выбираю: бежевая или серая.

Разгорелся спор. — Бежевая машина — элегантнее, — настаивал Аркадий Гаврилыч. Ему возражали, что бежевая «Победа» — это слишком банально.

Владимира Петровича радовала непринужденность, царящая на вечеринке. Обычные сослуживцы говорят в основном о работе, выставляют друг перед другом свой идейно-политический уровень. А эти, наоборот, снаружи — самые домашние люди, политика же скрыта внутри, в глубине души, втайне — там, где у прочих смертных одни пороки и недостатки.

Как заблуждаются писаки из продажной западной прессы, представляющие этих людей в виде каких-то мрачных злодеев. Да это же милейший народ — остроумные собеседники, отличные семьянины. Многие из них, как рассказывал Скромных, любят в нерабочее время тихо удить рыбу, варят сами обед, мастерят детям игрушки. Один старший следователь по особо важным делам в часы отдыха вяжет перчатки, вышивает подушки, скатерки, утверждая, что рукоделие развивает нервную сеть. Но если потребуется!..

За окном ахнул салют. Будто вылетела пробка из очень большой бутылки. Пришлось и Владимиру Петровичу отведать шампанского. Он позволил себе всего один бокал.

— Я предлагаю тост! Чей вдохновляющий гений! Неуклонно вперед! На борьбу! От победы к победе!

Стол был похож на поле битвы. Вина кровоточили. Паштеты — изъезжены вдырг, подобно военным дорогам в мокрую осеннюю пору. Сломанные скелеты селедок, окурки. Махровые и рыжие пятна.

Галдеж утихал по мере того, как пили. Другие во хмелю начинают кричать, буяннить, а эти — от рюмки к рюмке, от бутылки к бутылке — смолкали и цепенели. Глобову даже казалось, что с каждым глотком они постепенно трезвеют.

Осовелым, сосредоточенным взглядом озирают свои ряды, прислушиваются.

Какой-то юнец, должно быть, простой лейтенантик, не выдержал: — А я вчера в «Метрополе» смотрел «Падение Берлина»...

К нему, как к магниту, со всех концов потянулись шеи и уши. Выжидательно замерли.

— Очень понравилось! — взвизгнул оратор, напуганный общим вниманием. — Всем советую. Очень, очень...

И торопливо заткнул рот первой попавшейся семгой.

Наступила тишина. Даже чокаться перестали. Молча пили, молча закусывали. Так же молча они умрут, если будет нужно.

Следователь Аркадий Гаврилыч едва держался на стуле.

— Ты о ком спрашиваешь, прокурор? Какой такой Рабинович? Знать не знаю, ведать не ведаю никаких Рабиновичей. Что? Сам рассказывал? Тебе приснилось.

В глазах, иссеченных красными жилками, застыло искренное недоумение.

— Молодцы, ребята! Бдительно пьете, — подмигнул ему Глобов.

Он ждал, что при этих словах вся команда встанет навтыжку и звонким шопотом рявкнет! — Рады стараться! Но все были пьяны, все были немые, как рыба, которую они ели среди других закусок.



Чтобы запутать следы, Катя шла пешком. Тетрадку неслала в рукаве. Рвала листок за листочком. Бумажные крошки перетирала в ладонях и незаметно, по частям ссыпала на мостовую.

За нею следили. Кто именно — установить она не могла, сколько ни оглядывалась. Уж очень людно было вокруг. Народ валил, не разбирая дороги, на вечернее гулянье, на праздничную иллюминацию.

Город сегодня походил на препарат кровеносной системы. В школе, на уроке анатомии, показывали, как это устроено. Человек, перепиленный пополам, облупленный до последнего капилляра, состоит из множества ветвистых сосудов различной толщины и скраски.

Еще больше их было здесь освежено для вечерней потехи. По стекленеющим жилам домов, во все концы, пунктиром, струилась охлажденная кровь. Она горела преувеличенным, сверхэлектрическим светом.

Перед домом Сережи Катя остановилась. Перешла на другую сторону. Его окна темнели, как две могилы. Катя сложила пальцы крест-накрест: чтоб сдуру не накликать беды.

Но было поздно. Беда уже приключилась. Снял Юрий Михайлович трубку, позвонил, куда надо, пока она бежала по лестнице, и в окнах стало темно. А, может, еще не звонил, и Сережа спокойно спит, позабыв про несчастную Катю. Или гуляет с другими, обсуждая троцкистские планы. Все равно — ничем не поможешь. И она сама виновата: разбросала бумажки. По ним, как по следу, найдут его дом и квартиру.

Далеко, сзади уже началась погоня. Уже шарили по мостовой, искали под калошами, в лужах. Нагибались.

К завтраму все клочки будут собраны вместе, разглажены утюгом, склеены синтетиконом. И все двадцать четыре листка, неистребимых как гидра, у которой головы отрастают, в синей обертке, разграфленные в косую линейку, и вся расписанная мелким почерком мелкобуржуазная программа Сережи. На виду. На суде. На справедливом, страшном суде.

Земля подпрыгнула. В небо, откинутые назад, взмыли чугунные трубы. Это прорвалась аорта, где-то за универмагом. Нужен жгут. Но перевязать не успели: лопнули другие сосуды. И разноцветная кровь брызнула фонтаном в зенит.

Под гром салюта Катя возвращалась домой. Она не задирала голову вверх, не считала залпы орудий. Каждый новый удар ей казался последним. Вот сейчас иссякнут артерии, вытекут дырявые вены, и огромное рваное сердце задохнется в сердечном припадке. А оно все стучало и стучало, содрогая асфальт под ногами, озаряя лица прохожих то розовым, то зеленым сияньем.

Катя загадала: если стукнет пять раз, она пойдет к директору школы, или в райком, или куда-нибудь дальше. Завтра же. Тайком от Сережи спасет его, распутает шпионские сети, объяснит, что вышла ошибка, что Юрий Михайлович все врёт и общая польза главнее.

На четвертом ударе Катя еще надеялась — не дотянет. Но сердце остановилось только на пятом. И сразу стало так тихо, что захотелось лечь в постель и наплакаться вволю. В конце концов, она имела на это право. Уж это-то право у нее никто не отнимет.

Глубокой ночью, когда погаснут огни, и люди, утомленные праздником, заснут непробудно и сладко, на опустелые улицы города выходят двое в штатском. Прогуливаясь по участку, им отведенному свыше, они мечтают о чем-то или ведут вполголоса задушевный разговор. Одного зовут Витя, другого — Толя. Большого знать — нам не дано.

Толя говорит Вите:

— Послушай, Витя. Пора бы и канализацию приспособить к настоящему делу. Ведь столько тайного материала бесконтрольно уплывает по трубам! Проекты, конспекты, любовные письма, черновики художественных произведений и даже беловики.

Рассказывают, писатель Гоголь, живший в девятнадцатом веке, сунул в печку свою поэму под названием «Мертвые душат». До сих пор никому не известно, про что он там сочинял.

А теперь жечь — негде: центральное отопление. Теперь всякий норовит свои секреты разорвать на мелкие части и спустить в унитаз, чтоб полное инкогнито соблюсти. Это надо учесть.

Поставить, к примеру, под каждым домом особую драгу или сито и дворникам строго-частрого — изымать исписанную бумагу. Ну, а неподдельные нечистоты, пипифакс, газеты пускай уж плывут, куда им хочется, на свободу. «Пльви, мой челн, по воле волн...» Как ты считаешь, Витя, подойдет?

Витя задумчиво молчал, оглядывая пустую окрестность. Потом сказал мягко:

— Это не научный подход во всяком дерьме копать. Меня, откровенно говоря, Гоголь не занимает. А вот есть такой писатель по фамилии Герберт Уэллс. Ты «Борьба миров» и «Человек-невидимка» читал?

— Нет, не читал, — грустно признался Толя.

— А я его «Машину времени» почти наизусть выучил. Однако в данный момент лично меня другое изобретенье волнует. Тоже научно-фантастическое. Аппарат — мыслескоп. Вроде твоей драги, только еще доскональнее. Мысли и разные переживания угадывать. Чтобы даже тех, которые устно молчат и письменно не высказываются, контролировать автоматически. В любой час и на любом расстоянии. Здорово?

— Как ты его называешь, Витя?

— Аппарат-мыслескоп.

— Да, мыслескоп — это вещь.

Оба смолкли и погрузились в мечты. Но мечтали они согласованно, об одном. Вот о чем.

В наш век — век телевидения и радиолокации, в эпоху атомной энергии, направляемой к мирной цели, — хорошо бы в каждом районе завести свой мыслескоп. Сижу, например, я, вредоносный элемент, в своей малонаселенной квартире и заранее знаю, что все мои безидейные мысли и преступные планы в районном мыслескопическом пункте будут видны, как в кино. И стараюсь я не думать ничего такого. Все о невинных вещах размышляю, насчет баб, да чтобы выпить или даже про то, как честно трудиться на благо народа. А самого так и подмывает о чем-нибудь недоступном подумать. Корчусь в своем кресле, арифметические задачки решаю, чтобы отвлечься.

Не тут-то было. Просочилась в голову гнилая идея: как бы мне, думаю, научиться думать невидимо? Я ее — геометрией, дифференциалами, спряжением глагольных форм из церковно-славянского языка. Стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» четыре раза подряд декламировал. А она, гадюка, так и лезет, развивается: как бы, думаю, еще одну революцию сделать? На этом самом месте меня цап-царап.

— Здравствуйте, гражданин. Вы это о чем четыре минуты семнадцать секунд тому назад рассуждали? Нам все известно. Если не верите, можем пленочку предъявить.

— Не отрекаюсь — виноват. Я — презренный наймит одной иностранной державы. С детских лет озабочен реставрацией капитализма и подпиливанием железнодорожных мостов...

Тишина! Двое в штатском ходят по городу. Двое в штатском. Медленно, степенно шествуют они по заснувшим улицам, заглядывают в помертвелые окна, подворотни, подъезды. Ни души.

Одного зовут Витя, а другого Толя. И мне боязно.

## Г Л А В А VI

Несмотря на морозы, Екатерина Петровна каждый день — в подшитых валенках и в шапке-ушанке — навещалась в прокуратуру. Ее частые визиты были неуместны. Но прямо сказать об этом Глобов не решался. После ареста Сережи старуха совсем очумела. Придиралась пуще прежнего. И секретарь, почтительно посмеиваясь, всякий раз докладывал:

— К Вам, Владимир Петрович, опять эта пожилая особа — в валенках. Прикажете пропустить?

Бывшая теща, расхаживая по кабинету, бубнила:

— Не может быть. Не верю. Ни в шпионаж, ни в диверсию.

А Глобов — в который раз — допытывался:

— При обыске в его вещах нашли что-нибудь криминальное?

— Ничего, ничего...

От валенок по паркету расплзались грязные лужи. После ее ухода Владимир Петрович, заперев дверь на ключ, собственноручно вытирал пол тряпкой, принесенной из дому и спрятанной под шкафом. А потом набирал номер и спрашивал:

— Это ты, Аркадий Гаврилыч? Говорит Глобов. Что-нибудь новое есть?

Тот сухо отвечал:

— Пока ничего.

И вешал трубку. И теперь так бывало каждый день.



Каждый день, возвращаясь с работы, Юрий умывался и радовался. Видеть мыльную грязь было почему-то при-

ятно. Это всегда так: чем грязнее вода стекает с тебя в умывальник, тем оно и приятнее. Вероятно, подобное чувство испытывают в минуту исповеди.

Если Марина придет, он сможет чистыми пальцами трогать ее лицо. Около самых губ. Надо еще намылить: вдруг сегодня придет.

Последние месяцы он все делал с расчетом. Отдаленная цель, приближаясь, поглощала его без остатка. Он жил, чтобы овладеть Мариной. Даже спал и ел с умыслом — подкрепиться для встречи. Чистил зубы, будто готовился к поцелуям. И день проходил за днем, чтобы дать ей время соскучиться и, помедлив для приличия, капитулировать.

Постучали. Он выждал, пока уймется дрожь в коленках, и распахнул дверь.

То была не Марина. Соседка, стараясь поглубже втиснуться в комнату, протягивала конверт и сладострастно шептала:

— Это Вам девушка оставила. Молоденькая, словно бутончик.

А Марине будет лестно прослыть молоденькой девушкой, это надо ей передать, — соображал он, вскрывая письмо.

«Тов. Карлинский! Вы предательски донесли на Сергея Владимировича, а он все равно не троцкист, а честный революционер, а Вы — трус и подлец».

Юрий повертел письмецо, заглянул в конверт еще раз и, ничего не найдя больше, отложил для коллекции. При случае он расскажет Марине об этом эксперименте. Она будет очень смеяться.

Потом, как Понтий Пилат, Юрий вымыл руки. О Сереже, о Кате вспоминать ему не хотелось. Понтий, наверное, мало думал про Иисуса Христа, когда ходил умываться. У Понтия, может быть, тоже имелась своя цель, не известная евангелистам.

Насухо обтерев полотенцем каждый палец в отдельности, он повернулся к двери и топнул ногой:

— Где же Вы, Марина Павловна? Я жду Вас. Я — готов.

Следователь вышивал по канве. Узор для скатерки был выбран самый изысканный: по черному полю прихотливо извивались тюльпаны.

Когда приводили Сережу, он сворачивал шитье, подбирал

разбросанное по всему столу мулине и, заперев рукоделие в сейф, начинал дружескую беседу. Все пока шло начистоту.

— Да, это Вы тонко заметили. Ничего не скажешь. Такими мнениями наверху очень интересуются... А вот колхозы, с ними как быть? Здесь ведь тоже... Сами знаете...

Слушая про колхозы, он сокрушенно вздыхал. Иногда спорил, иногда соглашался, и они двигались дальше.

— Печать тоже, знаете, откровенно говоря...

Сережа и в область печати вносил свои предложения, удивляясь тому, что его до сих пор не выпускают.

— Ну-с, молодой человек, — сказал, наконец, следовательно, — взгляды наши мы обсудили подробно. Хотелось бы еще уточнить — как Вам удалось войти в контакт с иностранной разведкой.

Всем сочувственным видом он словно поощрял: Не стесняйтесь. Чего уж скрывать? Все там будем. Экая важность!

— Оставьте глупые шутки, — побледнел Сережа. — Я еще не осужденный, я — подсудимый.

Следователь усмехнулся и раздвинул шторы. Дневной свет был так чист и прозрачен, что хотелось вдохнуть его всей грудью.

— Подойди сюда. Слышишь? Тебе говорю.

Сейчас ударит, — подумал Сережа, деревеняя лицом.

— Глянь в окно!

Сережка увидел площадь, на которой бывал раньше, увидел вход в метро с нырявшими туда человечками, маленькие троллейбусы и автомобили, в которых тоже ехали люди, и каждый ехал, куда хотел. А сверху падал снег, живой настоящий снег.

— Вон они где — подсудимые. Видал — сколько?

Следователь показал на спящую под ними толпу. Потом погладил Сережу по стриженной голове и ласково пояснил:

— А ты, брат, уже не подсудимый. Ты — осужденный.

Хлопоты были бесполезны. Ему уже намекнули в одной высокой инстанции:

— Лучше не суйся. Тебе доверяют — можешь быть спокоен. А вступаться за него не советуем. Только себя запачкаешь. Забудь и рожай другого, пока способен. А этот — этот тебе не сын.

Но бабушка не унималась:

— Хлопочи! Добивайся! Или ты — не отец?

Отец! У других дети — как дети. Институты кончают. Аспирантуру. Даже у Скромных мальчишка — попался, так по крайней мере на краже. Отец его выпорол для остратки — и концы в воду. А это — надо же? Из десятилетки — в тюрьму — отцовское имя позорить. Да еще в такое время!

— Нет, мамаша, — ответил Глобов, глядя на ее мокрые валенки. — Идут большие аресты. Не могу.

— Что Вы сказали? Боюсь? Не то слово. Разве я когда боялся? Меня все боялись... Я же — прокурор, поймите. Мне совесть не позволяет. Я — людей, может быть, менее виновных, ежедневно...

— Чье это будущее? Мое? Обойдусь как-нибудь без будущего. Предатель — мне не сын.

— Оставьте. При чем здесь честное слово революционерки? Старомодно звучит, Екатерина Петровна. А мне достоверно известно...

— Э, нет. Это Вы напрасно. Сына терять не легко...

— Довольно попреков! Вы сами... А брата, брата забыли? Удрал за границу, так Вы, небось...

— Я и раньше догадывался. Но если бы я знал, до какой степени...

— Да ты рехнулась, старуха! Не выдавал я его. Слышишь? Не выдавал.

— Отойти. Не хватайся руками. Руки, руки убери!

— Рассказывал я тебе — кто донес. Девчонка из его же компании. Мне учитель шепнул. Историк. Пришла к директору... Вроде для совета... Тот хотел замять, но...

— Девочка, девочка, говорят тебе русским языком.

— Ну, знаешь. Это слишком. Ни девочек, ни мальчиков я еще не душил. А вот врагов...

— Замолчи, старая ведьма, пока тебя не посадили! После таких слов я не желаю больше...

— Вот и прекрасно. Двадцать пять лет опекала. Хватит с меня твоего контроля.

— И не надо. Не приходи.

Когда старуха ушла, Владимир Петрович передохнул несколько минут и вызвал секретаря. Небрежным тоном, каким обычно говорят о посторонним лицам, он распорядился:

— Пришлите уборщицу. Пусть оботрет паркет после этой гражданки. Наследила, как в конюшне, своими валенками.

Зазвонил телефон. Марина оставила карты, раскиданные в замысловатом пасьянсе, но трубку не сняла. Склонившись над аппаратом, она с любопытством слушала протяжные звонки.

Ей вдруг почудилось, что трубка легонько подпрыгивает. Вот-вот она сама собою соскочит с кривых рогулек, и раздраженный голос Карлинского загнусавет на столике: — Прячетесь? Подойти не желаете? Считайте наши отношения порванными!

Возможность разоблачения была так близка, что Марина перешла в соседнюю комнату и оттуда, невидимая, в полной безопасности, внимала телефонным звонкам.

— Как он мучается, бедный. как он хочет меня! — думала она, торжествуя и вздрагивая при каждом новом трезвоне.

Уж третий месяц Юрий грозил уйти. Или она уступит — или они расстанутся. — Не желаю ни того, ни другого, — отнекивалась Марина. Тогда он дал ей две недели «на женские капризы» и удалился, донимая любовью, пугая одиночеством. Срок подходил к концу.

Телефон, прозвонив ее до мигрени, обиженно смолк, и Марина вернулась на кушетку — к своим картам и сомнениям. Они — совпадали. Были слезы, были письма, были дальние дороги и казенные дома, пара неизвестных валетов обещала приятные хлопоты, но короли от нее уходили один за другим.

Марина не верила в карты, но была вынуждена признать, что с мужем в последнее время — и впрямь — все разладилось. Он перестал ей докучать своими беседами о крепкой семье и взаимопонимании между супругами. Пелыми вечерами пропадал где-то и, казалось, забыл, что они — хоть и в ссоре — живут под одной крышей.

Тут еще Сережу посадили некстати, и всех знакомых мужчин точно ветром сдуло. Даже Скромных носа не кажет.

Только пиковый король еще оставался при ней. Отпустить его так просто она не могла. Кто, если не он, щедро, по-королевски, оценит ее красоту, и какая это красота без признаний и домогательств?

— Вы — моя цель, мой Бог, — любил повторять Юрий, доказывая, с присущей ему эрудицией, что высокая цель нуждается в средствах, хотя бы ее не достойных, и что Бог, которого, к сожалению, нет, очень страдал бы от одино-

чества, если б не придумал человека для поклонения себе и прочих услуг.

Да, это — верно. Разве женщина не самое одинокое существо в мире, разве есть что-нибудь горше ее одиночества?

Хлопнула парадная дверь, шаги мужа загромыхали в передней.

— Ты — дома? — удивился он через стенку, когда Марина откликнулась. — А мне деньги были нужны, хотел уж курьера послать. Так секретарь минут десять — подряд — сюда колотился. Никто не подошел к телефону.

— Я спала, — солгала она машинально и не слишком удачно, потому что муж хорошо знал, как чуток ее сон. Гораздо правдоподобнее было бы вернуться недавно с прогулки или из магазина. Но Владимир Петрович не возразил и не остановился у входа в ее комнату, как это бывало раньше, а промаршировал мимо. Щелкнул замок в кабинете — муж заперся.

Только тут она поняла, что Карлинский ей не позвонит ни сегодня, ни завтра. Быть может, он уж не ждет ее больше. И даже не требует от нее никаких мерзких уступок.

Подойдя к зеркалу и увидав свое огорченное, стареющее с каждым днем лицо, она хотела было заплакать, но вовремя вспомнила, что этого делать нельзя: от слез морщится кожа.



В ту ночь Глобов запил. Впрочем, после коньяка и водки он даже не опьянел нисколько, а лишь почувствовал в сердце такую нежность, что принялся шагать из угла в угол, бормоча колыбельную песенку:

Баю-баюшки-баю,  
А я песенку спою.

Вот и все слова. Он мог себе это позволить. Его никто не видел, никто не слышал. Он был один.

Руки, сплетенные на груди, сами обняли его и понесли. Владимир Петрович любил и баюкал свое большое, несуразное туловище. Ему было уютно рядом с ним, таким родным и давно не мытым. Оно прижималось, благодарно сопело, уткнувшись в сорочку, покачиваясь в такт колыбельной.

Баю-баюшки-баю,  
А я песенку спою.  
А я песенку спою,  
Баю-баюшки-баю,

Долго-долго, до бесконечности.

А на руках — будто девочка. Маленькая, неродившаяся дочка.

— Спи, милая, спи, моя умница, — уговаривал он, хлопая по тепленькой спинке. — Все спят. Играть тебе не с кем, Сережки нет дома, Сережка обманул нас, покинул. Он чужой нам, Сережка. Он — бьяк.

Чтобы она быстрее заснула, Глобов на мотив колыбельной начал перекладывать песни, какие знал. Все они были почему-то про войну, и он часто сбивался с напева, баюкая слишком размашисто, по-боевому.

Его прервали. Визгливый голос Марины доносился из коридора и мешал петь. Тогда он уложил девочку на диван, прикрыл кителем и, спрятав бутылки под стол, отпер кабинет.

По его виду Марина все поняла. Но оставаться одной в спальне казалось еще страшнее.

— Пусти, Володя. Я не могу заснуть. Мне страшно без тебя, — говорила она, дрожа от холода и унижения. А он стоял перед нею, лохматый, в нижнем белье, и загораживал проход своим огромным, разросшимся телом.

Марина его называла пусиком и киской (а какая он — киска? он — не киска, а прокурор), просилась к нему на диван (ишь ты! уже пронюхала) и обещала не сердиться за шум, поднятый по всей квартире. Она брала его руки, тяжелые как весла, и, распахнув халат, клала себе на грудь, прижимала к бедрам. Поборов отвращение, Марина гладила себя его руками, но они безучастно падали, как только их отпускали. А когда она попробовала столкнуть его с порога и силой войти в кабинет, Владимир Петрович просто шагнул в то место, где она суетилась и, отодвинув назад, запер дверь.

...Бутылки были целы. Но девочки под кителем не оказалось. Должно быть, он, убаюкивая, слишком нежно стиснул животик и раздавил ненароком. Или, что вероятней, ее похитили, пока он возился с Мариной.

Ну, конечно! Как он сразу не догадался? Это Марина все и подстроила. Она уже один раз убила его дочку и теперь снова к тому же вела, шлюха. Недаром ластилась, на диван просилась. Диван ей, видите ли, понадобился!

А когда он разгадал ее уловки, Марина подслала врачей — убийц во главе с самим Рабиновичем. Своими красотами она отвлекла внимание, а убийцы в белых халатах, растоптав священное знамя науки, тем временем, за его спиной, свершали черное дело.

В гардеробе кто-то сидел и не шевелился. Тогда Владимир Петрович снял со стены пашку — именное оружие настоящей кавказской закалки, поднесенное в знак уважения 4-ым конногвардейским полком.

Гардероб поддался с двух ударов. Только стекла звенели, да щепки летели, да сыпалась со стен штукатурка. А враги, ускользнув обманным путем, попрятались в щели, окопались по всем углам.

Напрасно Марина кричала под дверь, чтоб он прекратил безобразие, грозила, что уйдет из дому, будет изменять, покончит с собой, донесет в парторганизацию про то, что он — алкоголик. Нет, не проведешь! Теперь твои приемы всему миру известны! И в радостном остервенении он рубил, колол, кромсал все, что попадалось под руку.

Ему не было жаль ни карельской березы, ни хрусталя, ни пуховых подушек. К чему эта жалкая утварь? Когда враги проникли в твой дом, нужно все истребить вокруг и самый дом стереть с лица земли с засевшими там врагами.

Отскочив от стены, пашка крепко ударила его по голове, разбила люстру. Но и во мраке, обливаясь кровью, он продолжал наносить удары в воздух, в пустоту — всюду, где они притаились.

Закончив труд, прокурор подошел к письменному столу, изрубленному вдоль и поперек. Там, у окна, белел в темноте чудом уцелевший бюст. Прокурор вложил пашку в ножны и отrapортовал:

— Хозяин! Враги бегут! Они убили мою дочь, украли сына. Жена предала меня, и мать отреклась. Но я стою перед тобою, израненный, оставленный всеми, и говорю: Цель достигнута! Мы победили! Ты слышишь, Хозяин, — мы победили. Ты слышишь меня?

## Г Л А В А VII

Хозяин умер.

Сразу стало пустынно. Хотелось сесть и, подняв лицо к небу, завывать, как воют бездомные псы.

Они бродят по всей земле, потерявшие хозяев собаки, и нюхают воздух: тоскуют. Никогда не лают, а только рычат. С поджатым хвостом. А если виляют, то так — словно плачут.

Завидя человека, они отбегают в сторону и долго смотрят — не он ли? — но не подходят.

Они ждут, они всегда ждут и просят кого-то протяжным взглядом: — О приди! Накорми! Ударь! Бей, сколько хочешь (не слишком сильно, пожалуйста). Но только приди!

И я верю: он придет, справедливый и строгий. Он заставит визжать от боли и прыгать на цепи. И ты полползешь к нему на брюхе, заглянешь в глаза и положишь ему на колени лохматую голову. А он будет хлопать по ней ладонью, и смеяться, и ворчать что-то успокоительное на мудреном хозяйском наречье. А когда он заснет, ты будешь стеречь его дом и брехать на всех проходящих...

Кое-где уже слышен скулеж:

— Давайте жить на свободе и резвиться, как волки.

Но я знаю, я слишком хорошо знаю, что они жрали раньше, эти продажные твари — пуделя, болонки и мопсы. У я не хочу свободы. Мне нужен Хозяин.

Ах, какая собачья тоска! Где уголю мой пронзительный, долгий, годами не кормленный голод?

Сколько их затеряно в мире, бездомных бродячих собак!

О, суки с продолговатыми глазами и тонкими кусачими мордами! О, злые, видавшие виды, одинокие кобели!

Его обмыли, набальзамировали, положили на постамент. Несметные толпы бежали к нему — проститься и посмотреть. Они вливались со всех улиц в сжатое домами пространство и там застревали.

Выход был один — туда, где в цветах, под караулом покоилось мертвое тело.

Но туда — не пускали: ждали распоряжений. А распоряжений все не было. Потому что тот, кто распоряжался, теперь лежал мертвый.

Площадь, утопанная ногами, стала тесна. Она не вмещала столько желающих проститься и посмотреть. А люди все прибывали, их становилось больше и больше с каждой минутой. И когда открыли узкий проход, было уже поздно. Кто-то гаркнул, радуясь случаю продрать звонкую глотку:

— Ребята! Нас предали! Мы — в жопе!

И тут началась давка.

Окно завесили ковром и свет потушили, как требовала Марина. Зрение перешло в кончики пальцев. Юрию казалось, что они у него моргают.

Раздевая Марину, он мог созерцать всю сложность ее устройства: арки, абсиды, купола. Луковицы православных соборов, похожие на груди, и стрельчатые ворота, как заостренный книзу живот.

Но всюду преобладала гитара: плечи — талия — таз. Недаром гитару и скрипку так любил Пикассо: это женское тело в разрезе.

А желания — не было.

Юрий напомнил себе, с каким нетерпением влекся он к этой цели, на какие средства пускался ради нее... Желания — не было.

А вдруг совсем не получится? — встревожился он, понимая, что нельзя ему нервничать, что мужчина в таких случаях должен быть спокоен, как фокусник, от которого ожидают чудес. И пугаясь все больше и больше своего волнения, он хватался руками за абсиды, купола, арки, расположенные перед ним. Если не страсть, то хоть чуточку вождения пытался он выклянчить у своей немощной плоти, предавшей его так позорно, так глупо в самый последний момент.

Пружины кровати звенели семиструнной гитарой.

Юрий стиснул зубы и поднапрягся, будто выжимал гири по три пуда каждая. Наконец, он вызвал в памяти пачку порнографических открыток, что с давних времен хранил в укромном местечке, и, перебирая мысленно самые непристойные, молился Богу: — Господи! Помогите!

А женщина идеальной конструкции недвижно лежала рядом, предоставив ему как угодно мучиться над ней. Всей опустелой душой, всем изнывающим от бесплодной работы телом Юрий ненавидел ее — достигнутую и недоступную, — мечтая лишь о том, с каким наслаждением он выгонит ее вон, как только это будет возможно.

— Что, Юрий Михайлович, Вы добились цели? — насмешливо спросила Марина. — Почему же Вы медлите?

Юрий, не отвечая, замжурился, хотя в полной темноте закрывать глаза было бесполезно.

Как это могло случиться, прокурор плохо понимал. Он стоял чинно, вместе со всеми, ожидая, когда будут пускать, и вдруг увидел, что толпа несет его, вращая по спирали, — через площадь, к узкому, точно траншея, проходу.

Стоило добраться туда, и открывался прямой путь к центру города, где в цветах, на постаменте покоился усопший Хозяин. И прокурор по мере сил помогал тащить себя в этом направлении, хотя перебирать ногами в тесноте было так же затруднительно, как говорить с набитым ртом.

Но чем ближе и быстрее придвигался он к цели, тем больше его относило в сторону. А спираль, закручиваясь до предела, валила с ног.

Люди лезли друг через друга и, спотыкаясь, падали. На место одного опрокинутого вставало пятеро свежих, и борьба не затухала. Каждый стремился проникнуть в узкий, точно траншея, проход.

Прокурор был слишком солиден, чтобы принимать участие в свалке. Он не лез, не толкался, не произносил бранных слов. Но чья-то могучая рука, шириною во всю эту площадь, схватила его поперек тела, стиснула в кулаке, так что он едва не задохся, и, чуть приподняв над землей, пошла гвоздить направо и налево.

— Пусти! Мне больно! — стонал прокурор. — Здесь все свои. Они ни в чем не виноваты. Здесь много женщин, детей, есть даже инвалиды войны, что принесли тебе славу.

Но рука не выпускала его из цепких, намертво сжатых пальцев. Скорбя и ожесточаясь, она била и била им, как дубиной, воющую от боли толпу.



Спешить было некуда. Марина постояла у киоска, где продавались газеты, траурные, будто женщины с подведенными тушью ресницами. Потом, повернувшись спиной к надоедливой улице, разглядывала незажженную витрину косметического магазина.

Там, как в плохом зеркале, она увидела себя. По ней шагали люди, ехали троллейбусы, пронизанные флаконами духов и пирамидами разноцветного мыла.

— От всех этих средств красота портится, — думала она, поглядывая исподлобья на свое отражение. Но лицо ее, замутненное стыдом и злобой, истоптанное тенями прохожих, было еще достаточно красиво.

— Завтра же испробую аргентинскую губную помаду, — решила Марина.



Ему удалось уйти, Под грузовую машину, через ограду бульвара, ободрав ноги, без шапки... Бульвар был пуст и просторен.

— Девочку, девочку задавили! — донеслось сзади.

Там, в полутемном проулке, собрались успевшие выскользнуть. Они радовались, что легко отделались, поминили какую-то девочку:

— Задавили! Задавили!

— Это — не про мою. Моя — сама упала. Никто ее не давил. И стекла ей в очках раньше меня выбили, и возрастом она уж не девочка, а совершеннолетняя.

— Девочка, девочка, — упрямо твердили в толпе. — Задержать надо виновного... Под машину уполз... Чего рты разинули? Виновного, виноватого...

— Моя — сама виновата. Пускай не суется под ноги. Я сам упал. А виновных здесь нет. Без жертв не обойтись. Зато — во имя цели.

Итти дальше не было сил. Он прилег отдохнуть в теплый, как парное молоко, снег. По соседству, за сугробом, все еще искали виновного, толковали про неизвестную девочку:

— Может, это вредитель какой, диверсант, враг народа? Давку-то кто устроил? Милицию бы сюда! Следователя, прокурора! Судить таких надо! Судить!

## Э П И Л О Г

Возле реки Колымы, за пригорком, мы копали канаву — Сережа, Рабинович и я.

Я прибыл в тот лагерь позже других, летом пятьдесят шестого. Повесть, для завершения которой не хватало лишь эпилога, стала известна в одной высокой инстанции. Подвела меня, как и следовало ожидать, упомянутая ранее драга, поставленная в канализационной трубе нашего дома. Черновики, что всякое утро я добросовестно пускал в унитаз, непосредственно поступали на стол к следователю Скромных. И хотя важное лицо, чей приказ я выполнил, может быть, недостаточно точно, к этому времени уже умерло и даже подверглось переоценке со стороны широкой общественности, меня все-таки привлекли к дознанию за клевету, порнографию и разглашение государственной тайны.

Я не отпирался: улики были налицо. К тому же Владимир Петрович Глобов, вызванный в качестве свидетеля, представил документы, неопровержимо доказывающие полную мою виновность. Все, что я написал, как это установило следствие, являлось плодом злого умысла, праздного вымысла и больного воображения.

Особое нареkanie вызвал тот факт, что положительные герои (прокурор Глобов, адвокат Карлинский, домохозяйка Марина, двое в штатском и т. д.) не обрисованы здесь многогранно в их трудовой практике, а злопыхательски выставлены перед читателем нетипичными сторонами. Отрицательные же персонажи (детоубийца Рабинович, диверсант Сережа и его соучастница Катя, слишком поздно осознавшая свои ошибки и за это растоптанная ногами возмущенного народа) хоть и были наказаны по заслугам

в моем клеветническом произведении, но не разоблачены до конца в своей реакционной основе.

Не рассчитывая на снисхождение, я просил только о том, чтобы мне разрешили, учтя критику, хотя б в эпилоге произвести некоторые коррективы, проливающие должный свет на моих персонажей. Мне позволили это сделать, но в процессе собственного перевоспитания, без отрыва от земляных работ, предусмотренных на Колыме.

Попав сюда, я вскоре пристроился к Сереже и Рабиновичу. Добиться, чтобы нас поселили в одной землянке и стерегли совместно, было нетрудно. После амнистии лагерь опустел. Нас, крупных преступников, здесь осталось каких-нибудь тысяч десять. Начальство смягчилось и разрешило создать ударную бригаду в составе трех человек, выделив нам персонального конвоира с хорошим автоматом.

Впрочем, в нашей бригаде по-ударному трудился один Сережа, полагавший, что необходимо способствовать приближению прекрасного будущего. Мы с Рабиновичем по старости лет от него отставали.

Сережа рьяно насаждал среди нас принципы новой морали. Пайку хлеба в 400 грамм, что я получал ежедневно, складывали с аналогичными пайками моих друзей. Всем этим хлебом заведывал у нас Рабинович, и, когда наступало время обеда, мы 1 кг. 200 гр. делили на три части.

— Какая в этом польза? — удивлялся я. — Все равно каждый съедает свои 400 грамм и даже меньше, потому что Рабинович тайком откусывает по кусочку от чужих паек.

— Ничего, ничего! — подбадривал меня Сережа. — Недорого пайка, дорог принцип равного распределения продуктов.

Однажды, выгребая лопатой мерзлую землю, я улучил момент:

— Скажите, Сережа, что пишет из столицы Ваш уважаемый папа?

Тот с напускным равнодушием передернул плечами:

— Мы не переписываемся, сочинитель (меня за былую профессию прозвали здесь сочинителем). Бабушка сообщала как-то, что его повысили в должности.

— Вот видите, Сережа! — воскликнул я, радуясь поводу поговорить на волнующую меня тему. — Видите, каких высот достиг этот государственный деятель! Можете не сомневаться в моей искренности, я люблю Вашего отца давней, неразделенной любовью. Мне дорог Емельян Пу-

гачев, обернувшийся Александром Суворовым, грохот танков по бульвару, бешеный рев радиорепродукторов — вся избыточная аляповатость героической нашей эпохи, что гордо шествует по земле, звеня орденами и медалями.

И если я вопреки указаниям свыше не защитил Вашего папу своим шуплым телом, то, поверьте, я искал только случая свершить этот подвиг, а случай спасти Вашего папу так и не вышел. Он сам всех спасал, сам всех преследовал. О, когда б его побивали камнями! С какой радостью я умер бы за него и вместо него! Но его не побивали...

Наверное, мои излияния были неприятны Сереже, и он переменял разговор:

— Да, сочинитель. Отец считает меня вероотступником. А вот мачеха, Марина Павловна, кто бы мог подумать! Вчера от нее получил посылку.

— Узнаю вас, русские женщины! — восхитился я, глотая слюнки. — Со времен декабристок! Княгиня Волконская, Трубецкая. Помните — у Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». А в посылке-то что?

— Коробка шоколадных конфет с ликером.

— И все?

— Все.

Делать было нечего. Хорошо хоть с ликером. Мы подарили нашему конвоиру половину посылки, а сами, не вылезая из канавы, устроили роскошный пикник.

Как всегда в минуты отдыха нас развлекал Рабинович. С ним последнее время творилось что-то странное. Может быть, он помешался из-за врачей-убийц, которых признали невинными. По их делу его осудили, но реабилитировать почему-то забыли. А скорее всего он просто-напросто с обычной еврейской хитростью прикидывался ненормальным, памятуя, что к душевнобольным относятся у нас снисходительно и частенько выпускают в сумасшедший дом.

Во всяком случае речи его с некоторых пор стали темны и невразумительны. Он все рассуждал о боге, об истории, о каких-то целях и средствах. Иногда получалось очень смешно.

Вот и сейчас, доев последнюю шоколадку, он вытащил из-под ватника забавную железку, покрытую ржавчиной и землей.

— Нет, гражданин сочинитель, как Вам это нравится? — обратился он ко мне, бессмысленно улыбаясь.

— Археологическая находка! — обрадовался Сережа и

тут же зафантазировал: — Здесь путешествовал в каком-нибудь шестнадцатом веке или даже раньше никому не известный Ермак. Быть может, — до самой Америки! Опредил Христофора Колумба! Надо — в музей, под стекло, для поддержания приоритета!

— Приоритет несомненен, однако, начальству слать придется, — соображал я. — Все-таки холодное оружие.

Это был меч, наполовину изъеденный сыростью, с массивной рукояткой в виде распятия.

— Как Вам нравится? — вопрошал Рабинович. — Бога, обратите внимание, куда приспособили. К орудию смертоубийства — держалка! Скажете — нет? Был целью, а сделался средством. Чтобы хвататься сподручнее. А меч — в обратную сторону: был средством, стал целью. Переменялись местами. Ай-я-яй! Где теперь Бог, где меч? В извечной мерзлоте и меч, и Бог.

— Оставьте в покое Ваши религиозные пережитки, — сказал я и опасливо отодвинулся (видно, недаром попал сюда этот гражданин Рабинович). — Всему миру известно — никакого бога нет. Не в бога нужно верить, а в диалектику.

Как он тут всполошился, этот хилый еврей, обстриженный под машинку, в рваных спорках, замазанных грязью, с ржавым мечом подмышкой.

— Да я что? Разве ж я спорю? Никогда в жизни!

Схватив меч в обе руки, он поднял его, как зонтик, и затыкал прямо в небо, нависшее над нашей канавой.

— Во имя Бога! С помощью Бога! Взамен Бога! Против Бога! — приговаривал он, будто натуральный безумец. — И вот Бога нет. Осталась одна диалектика. Скорее для новой цели куйте новый меч!

Я хотел ему возразить, как вдруг солдат, что предохранял нас от побега, проснулся на своем пригорке и закричал:

— Эй, вы, в канаве! Довольно чесать языком! Работать пора!

Мы дружно взялись за лопаты.

1956 г.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Графоманы . . . . .	7
В цирке . . . . .	34
Ты и я . . . . .	47
Квартиранты . . . . .	66
Гололедица . . . . .	77
Суд идёт . . . . .	135

**ACHEVE D'IMPRIMER  
LE 30 NOVEMBRE 1961  
SUR LES PRESSES DE  
L'IMPRIMERIE S.I.P.E.  
32, RUE DE MENILMONTANT  
PARIS (XX<sup>e</sup>)**

Dépôt légal 4<sup>e</sup> trim. 1961

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ